



«Григорий Рязжский – феноменальный и единственный российский писатель, который любит людей».

Дмитрий БЫКОВ

ГРИГОРИЙ РЯЖСКИЙ

# ДИВЕРТИСМЕНТ БРАТЬЕВ ЛУНИИ

Григорий Рязский  
**Дивертисмент братьев Лунио**

«ЭКСМО»

2011

## **Ряжский Г. В.**

Дивертисмент братьев Лунио / Г. В. Ряжский — «Эксмо», 2011

Новый роман автора «Детей Ванюхина», «Колонии нескучного режима» и «Дома образцового содержания» Григория Ряжского, номинанта премии «Русский Букер» и премии Бунина, – утонченный и изысканный языковой эксперимент. Это захватывающая история происхождения двух братьев-близнецов, рожденных карлицей Дюкой Лунио от двухметрового простодушного Ивана. С одной стороны – трагическая правда, с другой – вымысел, метафора, символ и во многом гротеск. Ряжский создал романную буффонаду, в которой трагический XX век заявлен через судьбу членов семьи Лунио. Какие тайны скрывает эта якобы итальянская фамилия? И настолько ли она итальянская, как может показаться? Увлекательный сюжет, широкая историческая панорама, тонкие психологические зарисовки и необычный «разговорный» стиль повествования делают «Дивертисмент братьев Лунио» одним из самых ярких событий русской словесности последних лет.

© Ряжский Г. В., 2011

© Эксмо, 2011

# Содержание

Предисловие	5
Глава 1	8
Глава 2	16
Глава 3	23
Глава 4	28
Глава 5	34
Глава 6	41
Глава 7	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Григорий Ряжский

## Дивертисмент братьев Лунио

### Предисловие

Текст, который сейчас перед вами, родился примерно два года. Я приступил к работе над ним через пару месяцев после того, как мы с Нямой завершили ремонт в нашей квартире на Фонтанке. Сначала мы обновили мебель и докупили всё, что понадобилось нам для постоянной жизни на новом месте. Кровати мы решили брать сразу полноразмерные, исходя... ну, сами догадаетесь, из каких соображений. Всё же как-никак мы с Нямой мужики, и никто не знает, как ещё дело обернётся, когда мы надумаем привести в дом каждый по хозяйке.

Ну а Франя, подшив и развесив новые шторы, сделала собственные покупки, например постельное бельё для всех. Теперь у неё была своя отдельная комната, получившаяся светлой и ужасно уютной. По комнате досталось и нам с Нямой, слева и справа от гостиной. Гостиная же стала общей, местом для всех в нашей дружной семье.

К тому времени у нас уже были дипломы об окончании училища, и мы устроились работать в джазовый оркестр под управлением Анолега Кроллстрема, успешно пройдя у него прослушивание.

Мы много ездили с гастролями, и всякий раз, возвращаясь домой, на свою любимую Фонтанку, и я, и Няма испытывали непередаваемую радость от того, что отныне она в нашей жизни есть, река эта, маленькая, как и мы сами. И есть ещё наша Франечка, которая всегда нас ждёт с нетерпением, и сам этот город, ставший нам родным и близким. И те самые чувства, так образно когда-то описанные Гиршем, теперь с гордостью можем испытывать и мы.

Иногда приезжал Иван, но чаще гостила бабушка Юля. Иван появлялся нерегулярно – бывало, что и без предупреждения. Вёл себя по обыкновению неровно: то убегал поглазеть на прилежащие ландшафты, а то часами просиживал у телевизора, днём разговаривая с Франей, а вечерами общаясь с нами. И так же непредсказуемо исчезал, вспомнив внезапно про сверхплановую упаковку там у себя, на востоке. Но всё равно особо он никому не досаждал и порой даже своим присутствием вполне приятно окрашивал нашу с Нямой жизнь.

Бабуля в отличие от отца наезжала к нам основательно. Несмотря на то что с Франей они изначально были устроены совершенно противоположно, с какой стороны ни посмотри, со временем им удалось сойтись и даже некоторым образом сдружиться. Вместе кухарили, чтобы как следует угодить мне и Няме, совместно посещали колхозный рынок, если выпадала завозная суббота, с равным трепетом отправлялись с цветами на Волково кладбище, к Гиршу, не давая могиле заскучать, и сообща, дружно обихаживали дом, когда этого требовала семейная нужда.

Спустя какое-то время после начала нашей питерской жизни Франя уже стала забирать бабушку к себе – спать в своей комнате. До этого бабуля ночевала в гостиной, в отгороженном ширмой углу, где спал и Гандрабура, когда приезжал отдельно от неё – для отца мы с Нямой приобрели нестандартную кровать вроде той, что так и продолжала стоять на востоке, в бывшей их с Дюкой спальне.

Писал я вечерами, так мне было чувственней и комфортней. Няма, конечно же, влезал, но, надо признать, что чаще с пользой для дела.

Кончилось всё же тем, что текст вышел разномастным, в чём вы сами сможете в скором времени убедиться: где-то он получился дёрганым, в каких-то местах отдельные слова и фразы вышибаются из общего строя, который мне поначалу так хотелось образовать. А ещё пришлось с Нямой несколько раз чуть ли не воевать. Он постоянно редактировал меня, внося личные

правки, вписывая собственные куски, привнося неприемлемую для меня интонацию в те главы, которые касались поздней части общей истории семьи. В итоге многое из того, к чему Няма так или иначе принудил меня, вошло в окончательный вариант текста, местами украсив его верно найденным словом, в какие-то моменты предлагая улыбнуться и даже поржать, но порой заставляя меня зажмуриться от его убийственной язвительности и желчного ехидства. Таким, как мне кажется, получилось всё, связанное с Иваном Гандрабурой, нашим отцом по крови и по судьбе.

Дополнительно скажу, что подобное Нямкино вмешательство не могло не отразиться и на самом языке повествования: чередование отдельных кусков текста и целых глав, не уложившихся стилистически в единую органику, о которой мне мечталось в самом начале работы, плюс внезапные вбросы совершенно гротесковых фрагментов, минус умеренность и сочетаемость форм и смыслов, и снова – дурная и непреодолимая тяга моего брата к тому, чтобы скрестить чужеродные, разноуровневые стилистически, а стало быть, и психологически слова и словосочетания – всё это придало тексту некую эклектическую коллажность, и этого мне не удалось отстоять в наших с ним битвах за конечный результат.

Я уже не говорю, что, кроме всего прочего, не до конца выверен и определён сам жанр произведения, заметны неритмичность и спонтанность подачи, внезапные скачки с уходами от главной темы, неожиданные возвраты к утерянной и забытой мысли, резкая смена настроения, ну и остальное всё. Это если не брать в расчёт то ещё, что мы с Нямой во многом по-разному оцениваем сами события и биографические факты, которые приводим, отсортировав памятью те, в которых мы оба абсолютно уверены, как нам казалось при написании. Именно так, копотливо, при взаимном неусыпном контроле, устраняя зоны общих сомнений, поругиваясь и заново мирясь, собирали мы из кусочков, обрывков и обрезков эту неровную, местами цветную, а кое-где чёрно-белую мозаику истории семьи Лунио.

Франю и Ивана в ходе работы мы просто изводили своими вопросами, и если нам удавалось вытянуть из них абсолютно искренние ответы, то это чрезвычайно помогало нам отделить истину от вымысла и узаконить в нашем представлении нечто усреднённое, уже безоговорочно принимаемое всеми сторонами.

Что касается рассказов Гирша, тех ещё, прижизненных, то оба мы и так бесконечно доверяли им – сами поймёте, по какой причине, когда ознакомитесь с этим повествованием. Его рассказы мы практически не тронули, разве что чуть домыслили некоторые детали, малозначительные на наш взгляд, но которые он всё же решился поведать нам, хотя и не в окончательно полном виде.

Проще всего было с бабулей. Та, имея характер, выложила нам всё разом, не укрывая ни вины своей, ни всего остального, чего, возможно, следовало бы стыдиться любому рассказчику. Вообще, надо сказать, что после смерти Гирша баба Юля довольно быстро вернула себе утраченную форму. Это коснулось и потерянного ею некогда физического здоровья, и нового обретения веры в себя, в свою изломанную душу и в целый и несправедливый мир вокруг неё. Одно лишь обстоятельство бабушкиной биографии так и осталось для нас непрояснённым – что же случилось тогда с ней в эвакуации, в этом башкирском Давлеканово, и почему после этого печального события вся её жизнь так неуклонно покатила под гору, прикатясь туда, где оказаться ей было совсем необязательно.

Впрочем, всё это позади. Иногда нам с Нямой кажется, что вся история семьи Лунио просто выдумана нами же самими, потому что, если собраться, вникнуть и поверить в то, что вам ещё только предстоит прочитать, то именно так вы, скорее всего, и подумаете.

Однако это совсем не так: просим вас отбросить сомнения и поверить в то, чего, казалось бы, просто не должно было быть никогда, чего никак не могло произойти ни с кем из родившихся в городе, носящем имя Ленина, – который умер, но чьи идеи остались с нами и по сей день.

Надеемся, что мы усердствовали не зря и что вы не станете считать потерянным время, которое займёт у вас чтение этой рукописи.

Искренне ваши, Пётр Лунио при участии Наума Лунио.

## Глава 1

Дюка умерла при родах. Как только из её рассечённой крошечной матки извлекли меня и моего младшего брата Няму, тогда ещё никак не названного, сердце её остановилось, и она прекратила дышать. Именно в этот момент, когда всё, казалось, шло к счастливому финалу и прибывшая в роддом бригада умников с кафедры акушерства и гинекологии местного мединститута уже предвкушала победную статью в научном журнале под общим авторством – про то, как у них всё грамотно да ловко получилось, хотя область, а не центр: оба ребёнка и выношены были нормально, и отлично подготовлены к оперативному вмешательству, и изъяты из чрева более чем компетентно, без непредсказуемых последствий. И всё это при живой и здоровой матери новорожденных близнецов, Марии Григорьевне Лунио.

Кстати, такая необычная фамилия миниатюрной роженицы наилучшим образом вписывалась в будущую статью, вызывая той своей циркаческой призывностью дополнительный интерес к уникальному случаю ещё на старте удачной беременности. И качественное завершение аномальных родов стало бы полным триумфом медбригады.

На самом же деле такого быть не могло, потому что наша мать – «нанистка», то есть карлица. Ну, просто маленькая 90-сантиметровая женщина с диагнозом «карликовость». Что по-научному обозначается как «гипофизарный нанизм». Такая вот хлопотная история.

Вот почему эти сильно заинтересованные доктора так сердобольничали с нашей нестандартной матерью – шутка ли, двое однояйцевых близнецов у карлицы от здорового отца-бугая. Пока мы с Нямой, будучи ещё плодами, дозревали в тёплом Дюкином животе, вслушиваясь своими микроскопическими ушными ракушками в плеск околоплодных материнских жидкостей, врачи уже достоверно могли сказать, что оба мы будем карликами с рождения и чуда, на которое можно было бы надеяться, не произойдёт. И это наверняка.

А вот другое чудо возможно вполне – двойня! Мама и об этом знала от врачей, но только не папа, который честно ожидал нормального потомства и, втянувшись в ставшую ему привычной жизнь дома Лунио, вовсе не планировал бросать Дюку. Наоборот, трудясь с нею на пару, отец придумывал разные любопытные штуки и тем самым зарабатывал средства в общую копилку. Он же не думал на полном серьёзе, что Дюка родит ему сразу двоих деток и оба получатся недоделанными «нанистами», с диагнозом, который носила и она сама.

Случай наш с Нямой, если честно, сам по себе невероятно редкий – это я вообще про наше появление на свет. Хотя, в общем, как-то всё же изученный за столетия врачебных наблюдений. Известно, что параметры таких пациенток, как наша мать, не приспособлены к естественным родам. Однако с учётом нашей изначально нетипической малоразмерности маму решили не резать, поскольку не было у врачей боязни, что мы не протеснимся через что там положено и не выйдем на свет как надо. А прокесарить по ходу дела всегда можно успеть, если быть к этому делу нормально готовым.

Вообще из-за низкого роста у карлиц происходит гормональный сбой и месячные не приходят с должной регулярностью, почти или совсем. И даже если каким-то непостижимым образом им («нанисткам») всё же удаётся забеременеть, то из-за своего недостаточного роста плод свой (или в нашем случае плоды) они почти никогда не доношивают. Но в нашем эпизоде полного чуда, на которое мы – согласитесь – имели право рассчитывать, не случилось. Оно имело бы место, если бы Дюке удалось, например, выносить и родить полноценных здоровых близнецов. Или хотя бы одного меня, без Нямы. Или же Няму без меня, как кому повезло бы. Но вышло – обоих, хотя и укороченных. Доходчиво?

Если – да, то теперь вам станет окончательно ясно, какую предстартовую трясучку испытывали акушерские костоломы, когда беспредельно счастливая Дюка забеременела от атлетически исполненного природой самца под два метра ростом, да к тому же по любви. От любви

всегда бывает неожиданность, а от неожиданности – непредсказуемость. Никто, в частности, так до сих пор и не выяснил окончательно, никакая их лечебная наука, как, например, влияет на рождаемость детей у карлиц существующее в момент зачатия полноценное взаимное чувство. Или безответное и неполноценное. Или отсутствие этих чувств у обоих. И какое этот же фактор оказывает влияние на последующее развитие плода. А если говорить понятней – кто в итоге вырастет в материнском животе: карлик или не карлик. Это мы, помню, с Нямой уже сами обсуждали, всю эту тематику, меж собой, больше было не с кем. Мать нашу мы живой не видели, а дед Гирш почему-то от этого разговора обычно уходил.

Сами роды, как уже потом нам стало известно, протекали ох как непросто. Наркоз вводили одновременно трое спецов, причём использовали детскую интубационную трубку – а как иначе, ведь вместе со мной и Нямой наша мать Дюка на девятом месяце весила всего 30 килограммов. И трое эти обсчитались – не выдержала мама наркоза их. Убийственным оказался, не попали.

Пара-тройка диссертаций светила им тогда, этой врачебной бригаде – сразу и, наверное, без защиты, исключительно по феноменальности самого факта, какого больше не сыщешь вовсе. Если бы не кончилось всё так, как кончилось. С Дюкой, я имею в виду с нашей карликовой мёртвой мамой. Но пока ещё не случилось, все они, как один, с калькулятором, с расчётом на каждый килограмм массы комариного Дюкиного веса определяли потребную дозу каждого их бесовского препарата, какие в итоге и загнали нашу мать в несправедливую смерть.

Спросите, а чего это я всё «дюкаю»? А это не я, это придумал наш глуповатый незаконный отец. Первый мамин мужчина. Он и окрестил. Поначалу просто именовал её Дюймовочкой – это когда познакомился через Гирша и сразу же, в день переезда в наш дом, сблизился до взаимных ласк. Тем самым, как ему казалось, он проявит избыточное внимание, пикантную нежность и заботу в культурном отношении. Позже он укоротил длинное слово до четырёх-буквенного размера, сложив его из первой и последней пары букв. Этим он избавился от лишней середины, чем подхлестнул собственный интерес к негабаритной, но складной девушке с заурядным именем Мария и затейливо редкой фамилией, напоминающей корнем итальянскую, да ещё и с благовоением в духе цирковых династий – Лунио. Похожие звучные фамилии по обыкновению присваивают себе конники, фокусники или, на худой конец, воздушные гимнасты. Да ещё к тому же объявляют себя братьями, хоть чаще один другому вовсе и не родня.

Однако вдумываться капитально в такое любопытное сочетание фактов и образов отец не стал. Само собой, у карлиц всё не как у нормальных, и это в порядке вещей. Странно было б, если, к примеру, была бы она Марией Селёдкиной. Или Курициной какой-нибудь. Но этого просто никак не могло быть, потому что подобные фамилии и места в пространстве разума и быта уже давно заняты рядовыми полноразмерными женщинами: крепким телом и здоровьем, бойкими и неуступчивыми с первого раза. Мама же всё для себя решила тотчас, как только увидела нашего будущего отца. Она и думать не мечтала, что найдется на её женское счастье свой мужской нестандартный вариант, отдельный человек со специальным вкусом и собственным подходом к маленьким безутешным гражданам. Да ещё такой высотный богатырь и писанный красавец.

А самого его, как я уже сказал, фамилия её необычная заинтересовала, добавила лишней интриги. Почти как Бартоломео какое-нибудь, сказал. Или Муссолини. Короче, чужой корень, не наш. А значит, решил тогда папа, надо брать и пробовать, тем более что заодно и жгло непустячно – что там и как у маленьких баб устроено. Это уже после разговора с Гиршем он стал так раскидывать будущее по разным интересным деталям.

Гражданские супружеские отношения Дюки с нашим отцом продлились недолго. Поначалу отца забавляло то, как по годам зрелая девушка с полувзрослым лицом и невесомым, совершенно детским телом на полном серьёзе исполняет свою природную обязанность, прикрыв глаза и попискивая от боли и страха в минуты соединения со зрелым и чрезмерно раз-

витым в мужском отношении самцом. Дивило и то, как в обе стороны прогибался от дикого напряжения хрусткий прутик её эластичного позвоночника. Как упирались в его бока крошечные, почти детсадовского размера шелковистые подмёточки. Как прохладные игрушечные ладошки гладили его волосатую грудь, наворачивая на мизинчики завитки жёстких волос. Как страстно, но с опаской пропускала она отца в себя, медленно, пережимая маленькими ручками могучий отцовский корень у его истока, чтобы не повредить себя изнутри или, не дай бог, вовсе не убить. И как потом, когда ласки завершались, юрко соскальзывала с его колен, счастливо улыбаясь тому, что снова всё им удалось и что не будет, скорей всего, препятствий к такой их удивительной взаимности и дальше.

Ей было двадцать шесть, когда они с лёгкой руки нашего деда Гирша сошлись для той их недолговременной совместной жизни. В силу своей примитивной человеческой сути отец наш никогда не был гадом или же просто банальным искателем извращенных удовольствий. Отчасти чувство его опиралось на природное любопытство взрослого зверя, о чём я уже упомянул. В некоторой степени действиями его также руководило неосознанное милосердие, свойственное подобному типу необузданных, сильных и бедовых мужиков. В этом Гирш по случайности не ошибся. Ну и, наконец, всё это ещё каким-то образом сочеталось с видами отца на имущество и некие средства, на тайное наличие которых прозрачно намекал Дюкин отец, мой дед Гирш, по паспорту Григорий. Возьмёшь нашу Марию, сказал он как-то моему отцу, не обижу. Она хорошая, просто небольшая. И отрешённо посмотрел в сторону горизонта, прямо и бесцветно. Потом добавил ещё, чуть поразмыслив, что доверить свою карликовую дочку он может лишь доброму двухметровому человеку с тридцать восьмой ногой, то есть с тем же сочетанием несопоставимых качеств, каким обладал лишь русский царь Пётр Первый. И если Бог даст им ребёночка мужского пола, то пускай имя ему станет Пётр. Нормально?

Отец поверил и взял, желая соединить несоединимое: обидный, но терпимый факт наличия карликовой жены и зажиточное ничегонеделанье. Чем он займётся потом и что утянет его в оголтелое блаженство – об этом он тогда ещё ничего не знал.

Отца нашего зовут Иван Гандрабура. 196 см прямого роста при 114 кг живого веса. При этом – верующий безбожник. Как хотите, так и понимайте. Он и сам понимал про себя не очень. Церковь обходил за версту, не любя тамошних волосатиков с их кадилами, рясами и свечками. Но верить – вроде верил, потому что дочитал-таки детскую Библию в картинках, доставшуюся ему в качестве культурной помощи от Гирша Лунио. В ходе прочтения многое Ивану становилось ясным, и прошлое бессистемное понимание мироустройства медленно, но неотвратимо отскабливалось от наростов случайных обрывочных знаний, обретённых за годы общения с такими же, как он, гандрабурами – по тяжёлым похмельным понедельникам в очереди за тёплым кисло-водянистым пивом. Много, но не всё. Например – тот любопытный факт, что себя самого нужно полюбить, как других. То есть, наоборот, всех остальных надо полюбить, как себя. Тогда что ж получается – что сам хороший, если себя сам же и полюбишь? А если, к примеру, не полюбишь? Или недолюбливаешь после, как натворил чего? Это, получается, всякий раз надо для начала прикинуть про самого себя и принять к выводу. Ну а если не доподлинно помнишь про всё? По понедельникам, допустим, какой там упомянуть – там бы себя с противоположным не перепутать. А наврёшь, так и полюбишь остальных не от своего имени, а от того перепутанного. И бед натворишь, и после про них узнаешь не раньше только вторника, уже на смене.

А вот ещё, смотрите. Прикинул он, что если каждых семян и зверей по паре забирать при потопе, то нет такой лады, чтобы уместились. Неправда это, не было такого. А если слоны, допустим, они ведь тоже звери, или жирафы с бегемотами? Это ж ледокол нужен, не меньше, или караван сухогрузных барж для такого заплыва от проливного дождя – в этом месте явно просматривался обман или же дурная фантазия.

А история с щеками, когда обидчика полагалось не бить смертным боем, а взамен этого подставлять себя по новой, ещё и с другой, более удобной для дальнейшего избияния стороны? В силу чего, спрашивается, с какого перепугу? И это вместо того, чтобы воткнуть негодяя головой в сыпучий песок тамошней раскалённой пустыни и вкручивать, вкручивать по самую селезёнку...

Или взять вопрос бытовой. Питание. Там как раз всё довольно необходимо ни для кого изложено, и даже проявлена излишняя щедрость. Зато обман, в чистом виде, хотя это уже не сам Бог, а сын его натворил. Ну как, скажите, можно, чтобы двух рыбин и штук вроде пяти батонов хватило насытить толпу безработного народа? Ну сколько одна рыбина, к примеру, будет весить, даже если у него обе выловились, нагуляв полный вес. Ну пускай, допустим, под два кило – хотя и не стандарт. Всего – четыре кило получается. Это на всех. Минус голова, хвост, кишки и рёбра. Молоку не считаем, пусть остаётся как съедобная. И чего? Они ж друг друга порвут просто, и всё равно не хватит нормально никому. А Иисус накормил, и все остались довольны. Ну чисто как у баснописца Крылова, только про другое. То-то и оно.

Короче, как Иван на это дело ни смотрел, такое ученье не обладало для него нужным запасом правдивой справедливости. Однако это выяснилось уже чуть потом, после того как, заинтересовавшись непустячным образом, он арендовал у того же Гирша все Евангелия от всех четверых похожих рассказчиков под общей мягонькой обложкой. Всех, ясное дело, не осилил, но первого одолел почти налегке и практически доконал второго. Других полистал уже просто для порядка и отложил за ненадобностью, так и не запомнив точно, кого и как из близкого окружения бога сына звали и кто чего для него делал.

К тому же путался постоянно, больно все они одинаково излагали про одни и те же дела. Но один из них в память всё же нормально запал – тот, который Пётр. Вспомнил Иван слова Гиршевы про русского царя Петра Великого и про его маленькую ногу при несоразмерном росте. Себя, опять же, ввернул сюда, в похожесть с ним такую, и уложилось оно в памяти само, без понуканий. Петра он назначил вторым по важности из всех после главного героя повествования Иисуса Христа. Потому что и доверие к нему было, и не так уж он и предал подло, а лишь ошибся чуток, против прочих, которые с умыслом предавали, несмотря на предостережения главного. Не говоря уже про скверноподлого Иуду, тот дело вообще отдельное. Получалось, что он, Пётр, самый наилучший приверженец святого учения из всех других. Так что решил Иван согласиться с будущим тестем насчёт моей маленькой личности. Ну что если я живой получусь у них с Гиршевой дочкой Дюкой-Марией, то буду называться Петром.

Которым я и стал, как они договаривались. А братика, про которого никто в ту пору не думал и не знал, назвали Наум. Няма. В честь покойного отца Гирша, Наума Евсеевича Гиршбаума. Для меня Няма – младший близнец, его извлекли на воздух сразу после моего появления на свет и долго откачивали. И нормально откачали, кстате, не жалуемся. И теперь мы Пётр Иваныч и Наум Иваныч, неотличимые близнецы. Но только не с отцовской фамилией Гандрабура, а тоже – Лунио, в деда по материнской линии.

До того ещё как мы родились, когда жива была мама, отец Иван любил иногда пооткровенничать с упаковщиками, знакомыми ему по старой ещё досемейной жизни.

– Такое, – говорил, – со мной Евангелие приключилось... – Это он о своей жизни с Дюкой. – Ни дать толком, ни взять нормально. Одно удивление и красота в малой форме. А самой бабы вроде как бы и нет. Будто понарошку всё, по забаве. Хоть перечень весь имею и состав: сисюльки аккуратненькие такие, на полмизинца от грудины – фижмочки, попка – двумя орешками с небольшую помидорку, шейка тонкусенькая, в обхват двух пальцев, глазики умные – со строгостью и внимательные, без расцветки, как у Григорий Наумыча, но повеселей, зубочки меловые белые, мелковатые и чуток редкие, зато остренькие, волосики с паучью нить тонкие-претонкие, русые, без бабьей густоты и волнятся, как в кино, плечики – обои лёгкими уключинками над ямками, косточки на рёбрах – наперечёт, всё по списку, всё как у других.

А сикнуть пойдёт – не услышишь, как журчит, какнёт – чисто ящеркой какой, не учуешь и следа после, как носом ни старайся. Ну чем не баба? Всем – баба. Только подержаться – мяса самого не хватает. Так чтоб вжать растопырку в мякоть, перебрать её пальцами, напружиниться и замереть на время, пока охота не подступит.

Но это он, само собой, не Гиршу пояснял, а прочим людям, и не только упаковщикам – тайно, в ходе нечастых уже совместных пивных возлияний, по которым иногда ностальгировал, ещё до того как вышел из состава семьи. В то время он ждал неизвестного наследства из Дюкиного живота, а соединиться с Дюкой в кроватьную любовь уже не имел физической и законной возможности.

Сведения разными кривыми путями брали начало от упаковщиков, знакомых Ивану по прошлой службе, и разлетались дальше. Время от времени, частично искажаясь в ходе своего пролёта, достигали они и ушей самого Гирша, а достигши, малой частью осаживались и на Дюке. Впрочем, таким малоприятным ответвлениям в получившейся безоблачности Дюка, всецело довольная жизнью, не доверяла и значения им не придавала. В постоянном её пользовании на основе чистой любви состоял добрый русский богатырь, о чём она раньше не осмеливалась и помышлять и чему так напрасно поначалу сопротивлялась. И оба они ждали продолжения рода по линии Лунио или Гандрабур – как повезёт.

Покинув стены фабричного общежития, наш биологический родитель, которого мы до определённого времени не видали вообще, прожил в семействе Лунио без малого три года, имея в активе не подкреплённую законом жену Дюку и всё ещё не утихающую надежду на лёгкое обогащение. Возможно, жил бы он так и дальше, то борясь с самим собой за освобождение из комфортабельного рабства, то напрочь забывая, что таковое присутствует в его жизни вообще. Работать, в традиционном смысле слова, в семье Лунио, куда он попал после увольнения с прежней должности, его никто не просил, разве что передвинуть что с места на место. Сам же он про любой вид труда уже не вспоминал. Прежде, работая на упаковочной фабрике, куда его взяли сразу после армии, Иван много думал о карьере, мечтал стать бригадиром среди своих таких же, чтобы свести на нет самоё сидение на проходной и просто пребывать в задымленной дежурке, при синей форме, при горячем чае, доминошных костяшках, программе телепередач, пистолете без заряда, перекидном настенном календаре с истекшим сроком годности и с голыми фигуристыми девками недостижимо-иностранный фасона, насквозь засмотренными сменным караулом за десять висячих лет. И при настольном аппарате для связи с настоящим начальником. И чтоб голова при этом всегда была невинной от любых обязательств по службе.

Такая жизненная конфигурация представлялась отцу идеальной, лучше неё был один лишь космос, куда Ивана всё равно не взяли бы из-за веса и роста. Но шли годы, и наступало их немало, а предложений других, кроме того, какое он и так верно исполнял, не поступало. Одно время он собирался продвинуться в той же профессии, с ловкой задумкой – чтобы и не менять ничего в корне и приблизиться к заветной мечте. С этой целью даже осуществил пробное усилие, предложив свою кандидатуру на место старшего смены той же проходной. Однако тут же был осквернён отказом начальника фабричной охраны, Лунио Григория Наумыча. Тот отмахнулся просто и покрутил пальцем у виска.

И тут как выстрелило! Именно тогда, после своего равнодушного отказа Гирш Лунио внезапно и подумал о рядовом охраннике Иване как о возможном зяте. Сами по себе механизмы жизнедеятельности, приводившие в движение эту большую и глупую машину, упакованную в грубую оболочку, были вполне исправны и управляемы, о чём Гирш знал достоверно и что всецело отвечало задаче. Оставались два дела – главное и неглавное. Главным было уверить Марию, что всё в жизни возможно. Даже в жизни маленьких людей. В том смысле, что и маленькие человечки так же могут жить, любить, трудиться на общее благо, и не за страх и вспомоществование от государства в виде инвалидной подачи, а за нормально начисляемый

дважды в месяц приличный заработок. А также испытывать регулярные человеческие эмоции и быть востребованными не только такими же маленькими, как сами они, людьми, но и вполне размерными, и даже очень крупными. Как, например, работник сферы охраны готовой упаковки и упаковочных материалов Иван Гандрабура. И её, Машеньки Лунио, женское счастье вполне может зависеть лишь от её выбора, если что. Это для примера. Неглавной задачей, второй по значимости, было соблазнение отобранного Ивана новой, привлекательной жизнью. Здесь дед не сомневался, что его интерес перетянет. Сама природа распорядится так, а не иначе – несомненно, должен быть слаб и безволен этот несуразный человек, чья нога своевременно не позаботилась о ступне нужного размера.

Первый, он же и последний, разговор между бабушкой и охранником был коротким и конструктивным. Предварительного обмена мнениями дед не планировал изначально. Со стороны Гирша беседа сразу выстроилась как обоюдовыгодный, но обязательный для исполнения договор. Итак. Григорий Наумыч Лунио, человек и начальник, увольняет бойца невоензированной охраны Ивана Гандрабуру с места трудовой деятельности по его собственному желанию. Обеспечивает Ивану выписку из профильного общежития и всецело и окончательно забирает его для совместного семейного проживания со своей половозрелой дочерью Марией в квартире повышенного габарита. При этом Иван Гандрабура становится обладателем временной прописки в качестве гражданского мужа Марии и живёт с ней долго и счастливо. Рождение наследников также приветствуется в случае такой медицинской возможности; и тогда вопрос брачного статуса пересматривается в общую пользу по взаимности. При этом, какой бы спонтанностью дело ни обернулось, дочь обижать категорически воспрещается, как мужу, как мужчине и как здоровенному самцу. Имей в виду, говорил Гирш, Мария, моя святая, почти как пресвятая Дева Мария, если б та перестала расти в 9 лет. Так что на сторону тоже ходить возбраняется, как бы ни прижало. С девкой твоей, что при роддоме, тебе придётся завязать. Не работать и вообще ничего не зарабатывать – можно при любых обстоятельствах. Полное довольствие в разумном пределе и на постоянной основе, как и кров, обеспечивается ответственным квартиросъёмщиком, то есть мною, на протяжении всего совместного проживания. Плюс карманные деньги. Да, и ещё! Без регистрации вы будете жить, просто чтобы людей не злить понапрасну. Родите кого – распишем, чтобы как у всех, я уже говорил. Но только никакая фамилия не меняется ни в чью пользу. Дети остаются Лунио. Всё!

Как потом рассказывал Гирш, отец нам предложению такому совсем не удивился, потому что натерпелся после службы в рядах вооружённых сил одинаковости и безнадёги личной жизни при неполном рационе питания и общения. Плюс к тому вечно сказывалась категорическая нехватка в организме пары-тройки существенно важных умообразующих макроэлементов. Спросил лишь:

– Сама-то она знает про меня вообще?

И еще:

– А был у ней кто до меня?

А совсем уже подумав, подытожил вопросник:

– А когда выходить-то, сейчас прям?

На первые три своих вопроса он получил в ответ уверенные дедовы «нет» и уже только тогда немного успокоился и обмяк. Пока отмякал, придумался четвёртый, самый для Григория Наумыча трудный в смысле ответа вопрос.

– А чего я-то, Григорий Наумыч?

Гирш в откровенное лукавство пускаться не стал. Ответил, как отрубил, чтобы закрыть тему навсегда:

– Потому что ты свой. Понял?

Ответ понравился, но и озадачил, предполагая несколько вариантов развития торга. Ивана хватило на один. Его и озвучил:

– Только если коротыш всё ж у ней родится от меня, какой сама она, то пускай не мой будет. Так сговоримся?

Дедушка не растерялся и отреагировал как опытный негодник:

– Сговоримся, Ваня. Но уйдёшь без выходного пособия. Как вошёл, так и вышел. Без ничего. Бесплатный вход – бесплатный выход. Это ясно?

– А вы откуда тогда про мою роддомовскую знаете? – невпопад спросил Иван.

– Знаю, и всё! – неопределённо мотнул головой Григорий Наумыч и кивнул на дверь: – Свободен, боец!

И вот тут наконец в полный рост проявился характер нашего отца, спавший доселе нетрудлюбивым Муромцем.

– Завтра отвечу, Григорий Наумыч! – с непривычной для себя решимостью произнёс Гандрабура и удалился на расстояние длиной в один день. Гирш проводил его пасмурным взглядом и отправился готовить дочку к новой жизни.

Дня до завтра Ивану хватило, чтобы посетить местный роддом, в котором у него сутки через трое, утро – вечер попеременно заступать, трудилась знакомая, Франя, тамошняя няня, убедиться, что та сегодня выходная, и далее отправиться по знакомому маршруту, не забыв навестить попутный продмаг. Сама по себе девка эта видной не была, хотя тело какое-никакое имела, не так чтобы окончательно увесистое, но всё же рёбра, как ни вглядывайся, не высматривались. А вдобавок пела ещё по субботам в церковном хоре. Пешие походы от упаковочной фабрики до роддома в режиме «ночь через три как получится» Ивана, в общем, устраивали. Тем более что Франя ни разу за всё время их отношений не выдвинула никаких специальных требований в ходе совместных актов телесного сближения. Сначала они ели то, что приносил с собой Гандрабура, затем безмолвно ложились на её узкую кровать и после соединения занимали уже каждый своё ночное место: няня оставалась спать на кровати, а Иван перебирался на дощатый пол: там хозяйкой предварительно был раскинут нарощенный в длину матрас, на котором умещался весь он целиком, даже в варианте полностью вытянутых ног.

Утром она его кормила остатками принесённой еды и на прощанье крестила быстро, стыдливо и по возможности незаметно. Тогда Иван был ещё вне богословской тематики и потому, когда засекал на себе суетливый перекрест, просто вяло отмахивался от Франи, прикидывая, что навряд ли такой святой обряд сможет оказать ему содействие в получении места старшего смены по охране упаковок.

В этот раз всё было чуть иначе против остальных его визитов. Знал Иван, кишкой чуял, что сегодня всерьёз прощается с молодостью, свободой и трудом, и оттого внутренность его наполнена была радостными переживаниями, сопровождаемыми лёгким страхом. Кишечная палочка в нём тоже не дремала, передавая позывные, вызывавшие бурчание в животе. Он даже не мог как следует разобрать, чего ждёт от этого своего последнего визита к няне: то ли одобрения рокового шага, то ли констатации поражения всей его нескладной жизни, то ли просто грамотной медицинской консультации на предмет рождаемости карликов в условиях, когда один из родителей не карлик, а совершенно наоборот, а другой – чисто карлица, натуральная.

И в этот судьбоносный момент я, как бы отмотав плёнку назад, увидел отцовскими глазами его растерянность, его неготовность родить нас с братом такими недоделанными, какими мы получились, приняв от родителя лишь по 90 сантиметров роста и не более того. А ещё я вижу дурную берёзу за окном съёмной няниной комнатёнки; она выгнута подковой и облита сверху донизу по веткам и стволу ледяной коркой после аномального зимнего дождя. Вижу, как отец, вопреки заведённому им правилу, не съехал с кроватной узкоколейки на пол сразу вслед за последним своим звериным выдохом, а оставил себя наверху, на общем матрасе, рядом с единственной своей женщиной, покорной как усталая овца и никогда не любимой. Он притянул её к себе, положил ладони ей на груди, неумело разыгрывая близость, и вжал пальцы в тёплую податливую мякоть, обогатив этой лаской, как ему почудилось, свой привычный гостевой

визит. Ледяная берёзовая дуга за окном, намертво вмёрзшая в неласковую природу, не шевелилась ни единым своим прозрачным щупальцем, и эта странная для местной зимы картина навела Ивана на мысль о том, что счастье его, как отдельного человека, и вся его остальная неинтересная жизнь напоминают такую вот, как эта, ледяную деревянную подкову, которая стоит за окном просто так, без всякой нужды, не потребная ни хозяину, ни лесу. И никто её и никогда не станет разгибать обратно, чтобы сделать выпрямленной. Просто пройдут себе мимо и не заметят – хочешь, стой гнутой, хочешь, разгибайся. Но чтобы с ним и дальше было так, Иван уже не желал. Почувствовал, что и он нужен людям. Хотя бы этим Лунио.

И он решился:

– Послушай, Франия, – выдавил Гандрабура через стеснение в груди, – а вот скажи мне как медик пациенту, без утайки. – Франия чуть вздрогнула и напряглась от непривычности происходящего, однако уступчиво распахнула веки, чтобы начать вслушиваться в Ивановы слова. Он же, не переставая вжимать пальцы в её груди, попытался доформулировать свой вопрос понятно, и, кажется, у него это не получилось, слишком уж щекотливой была сама тема. – Так вот я и говорю, – продолжил Иван, нащупав в себе наконец подходящую уверенность, – если мать, к примеру, природная карлица, а отец от природы нормальный, ну в полный рост, то могут они выносить и выродить такого, допустим, как этот отец, если сойдутся? А не как мать. И без последствий на потом, а? И что про такое в вашей больничке думают, не в курсе?

И прощально убрал от неё руки. Вопрос был настолько неожиданным и чудным, что Франия этого не заметила. Ощутила только, что дышать стало немного легче. Но зато и ответ в ней не задержался.

– А что случилось-то, Ваня? Заболел кто?

Гандрабура чуть раздражённо повёл плечом:

– При чём заболел? Оно ещё не родилось пока. Дитё это. Вот и спрашиваю, больное оно будет или здоровое? Как мы с тобой, предположим, без всякого отклонения от норматива или какое? Маленькое или большое?

Франия потупилась. Ощущение зарождающегося в узкой, как сама кровать, комнатке маленького приёмного покоя не отпускало. Да ещё сам по себе факт, что заблудший пациент не ушёл, как обычно, к себе на пол, также добавлял беспокойства.

– Да чьё дитё-то, Вань? – тихо спросила Франия охранника, стараясь не усилить его волнения интонацией своего голоса. – Почему большое? Где оно есть-то, у кого? В толк не возьму.

Иван хмуро посмотрел на женщину, и теперь она уже не понравилась ему окончательно.

«И чего только время на неё столько потратил? – внезапно подумалось ему. – Четыре года хожу, доски эти давлю поганые, а проку никакого. Глупая она, вот и весь мне ответ. Крутится при роддоме сутки через трое, а про калек ничего сказать толком не умеет. Надо ж, а ведь пожениться когда-то с ней думал...»

И всё же он сделал последний подход к снаряду, осуществив на этот раз обрисовку проблемы с помощью пальцев, освобождённых от няниных грудей. Тем более что снаряд этот всё равно шёл на утилизацию. После выразительной демонстрации Франия сообразила наконец, о чём речь и отреагировала неожиданно быстро и по существу.

– Теперь ясно, – сказала она, – так бы сразу и объяснил. Отвечаю, чего знаю. Были случаи такие и не один. При мне живых не вынимали, а чаще они выкидывали месяце уже на третьем. Мамочки ихние. Маленькие. Или вообще плод не цепляли, сколько ни жили со своими. А тебе для чего это надо? Для кого?

– Для того! – с внезапным облегчением и одновременной злостью выкрикнул Иван, подводя итог четырёхлетнего марафона по накатанному маршруту. Потому что понял – теперь можно безопасно жениться на дочке начальника охраны и положить с прибором на всю ихнюю упаковку.

## Глава 2

Гирш, давший будущему гражданскому зятю времени в обрез, чтобы не хватило запаса сил на обдумывание, и сам в каком-то смысле сделался заложником скоротечно принятого плана. Из опыта предыдущей жизни Лунио знал, что подобные дела следует решать сразу, одним решительным марш-броском, навалившись на проблему грудью и накрепко пережав ей дыхалку. В Иване, которого дедушка рассчитал навскидку, без калькулятора, он был уверен. Глуповатый и, в общем, не злой громила, которому отроду не хватало мозгов изобрести себе для жизни что-нибудь ещё, кроме того, чтобы поддаться обману, в который его кто-нибудь, предварительно заморочив голову, затащит, сомнений у него не вызывал. К тому же не было секретом, что про свою сексуальную активность тот больше бахвалился перед охранниками и упаковщиками, нежели проявлял её на деле. Чтобы удостовериться полностью, Гирш приложил несложное усилие, наняв шустрого пацанёнка, из упаковочных, и вызнал с его помощью полную занятость охранника Гандрабуры в нерабочее время. Вся операция обошлась Гиршу в плёвый пустяк: разрешил молодому под покровом темноты вытащить за охраняемый периметр пару универсальных упаковок под экспортную продукцию, и все дела. При том что бедней от этого не сделался никто, а пацану приработок и себе польза.

Малый этот без утайки донёс всё как есть. Что, мол, нет никаких у Ивана в жизни баб других, кроме одной роддомовской тётки, кем там она точно не знаю, санитарка, нянька или сестра. Ходит к ней на неделе раза два и спит там до утра. Потом идёт охранять или обратно к себе в общагу. Больше никуда не ходит, кроме продмага. Бабу эту его звать как, не узнал, но лет ей вроде около тридцати. Тоже одна без никого живёт. Сама с деревни. Кажись, всё.

Этих сведений деду хватило с запасом для окончательного утверждения кандидатуры Ивана на роль сожителя для нашей мамы. Оставался последний шаг – разговор с самой дочерью. Он и состоялся тем же днём, какой был отпущен Ивану для размышлений. Гирш заглянул к ней, когда она работала, как всегда сосредоточенно, высунув наружу маленький язычок. Обжигала в этот момент что-то там металлическое. Сначала он зашёл, а уж потом громко стукнул костяшками пальцев по двери с внутренней стороны:

– Машунь, отвлечь хотел ненадолго, ты как?

Она не обернулась, продолжала священнодействовать с газовой горелкой.

– Конечно, папуль, я тебя слушаю.

Гирш чуть помялся, но решил больше не тянуть.

– Тебе же у нас 26 скоро, милая. Вот я и подумал, возраст-то подходящий самый, чтобы мужчину завести, а?

Дюка продолжала работать и одновременно отвечать:

– Папа, но ты же знаешь, мы с тобой не раз об этом говорили, никогда я не стану жить с карликом. Хватит мне и самой себя ненавидеть. Два стыда больше, чем один, разве не так? Выше крыши наелась: и училась пока, и сейчас всё ещё дорожки выбираю помалоллюдней. Спасибо, профессия у меня домашняя. Или ты хочешь, чтобы я дополнительно ещё помаялась?

Гирш несогласно развёл руками, словно она могла видеть этот жест спиной:

– Доча, да я не об этом, я о другом. Я о нормальном мужике, о высоком, молодом. Какой там тебе карлик ещё! И есть у меня такой на примете, кстати говоря. И сам вроде бы не против. Знакомимся?

Дочь затянула горелку, отложила работу и развернулась к Гиршу лицом:

– А я ему зачем, пап? Он что, без карлицы страдает? Извращенец?

– Да не в этом дело, Машунь. – Дед приблизился к ней и присел на край стола. – Просто он добрый и простой. У меня работает. Одинокий, малопьющий. И очень большой ростом. Значит, и сердцем такой, я знаю. Сердобольность в нём есть какая-то, любовь к людям... особая.

Ко всем вообще, к большим и к маленьким. И уважение. Вот я и подумал, может, сладится у вас, хоть он не из наших. Э-э... не из ваших. Ну, я имею в виду, не из маленьких людей. Он детей очень любит, говорит, мечтаю о сыне. И стеснительный. Так что у него особенно ни с кем сойтись не получается. Робкий, хоть и охранником у нас. Но редкой душевности парень. И без претензий. А?

Дюка хмыкнула:

– А он нормальный? Я имею в виду... по голове. Отклонений никаких? А то уж слишком... на двоих придётся, не думаешь?

Гирш, почувствовав у дочки перемену настроения, резко подхватил тему:

– В том-то и дело, что нормальный. Абсолютно. Просто напрочь лишённый амбиций. И внимательный. Ему бы только дай о других заботу проявить, ну по типу волонтерской. Было бы возможно, говорит, открыл бы благотворительный фонд милосердия. Людям посильно помогать. Такой человек, доча. Иваном его зовут, Гандрабурой.

Дюка сделала лицо:

– Он что, сидел?

Гирш всплеснул руками:

– Да нет, боже упаси, это не кличка вовсе. Неужели думаешь, я тебе уголовного предлагаю, девочка моя? Просто у него фамилия такая. Приветливая, весёлая. Я же говорю, у него всё для людей, даже это. И потом, я ведь не сразу замуж предлагаю. Поживёте, притрётесь. Дальше сама решать будешь, нужен тебе такой мужчина для жизни или нет. Вдвоём по-любому веселей. И надёжней. И деточки могут получиться прекрасные. Ты же знаешь, у маленьких с маленькими не бывает. А он богатырь, просто из русской сказки, с ним у тебя всё будет, сама увидишь. Так или не так?

– Наверное, – неуверенно ответила она, но Гирш постарался развить идею ещё дальше:

– Знаешь, мы ведь никому правды не скажем. Пусть все думают, дальнего родственника к себе прописали.

Дюка прыснула:

– Ты про кого это, пап? Какого родственника? Если он с фабрики твоей упаковочной, то уже через два дня всем всё известно станет, уверяю тебя. Тут чихнут, там услышат.

– А мы его уволим оттуда, да он и сам говорил мне, что собирается. Так что никто и ухом не поведёт, а жить станете не хуже людей! – с искренним воодушевлением воскликнул Гирш так, чтобы не оставить дочке сомнений.

Дюка почесала мочку маленького уха и улыбнулась:

– Точно не хуже, не обманываешь?

Гирш соскочил со стола и рубанул кулаком по воздуху:

– Да не обманываю я тебя, не обманываю! Лучше, а не хуже! Днями приведу его знакомиться. Да, доча? Да?

Она повернулась обратно к столу, отвернула клапан горелки, поднесла к соплу зажигалку и крутанула колёсико. Из сопла вырвалась упругая струя синего пламени. И уже через плечо, не поворачиваясь к отцу, согласилась:

– Ладно, пусть приходит, посмотрим.

Я привёл этот разговор, чтобы стало понятно, как приходилось дедушке унижать себя и изворачиваться в разговоре с нашей мамой. Столь рьяно и неискренне убеждать родную дочку сблизиться с ленивым, обделённым любыми положительными качествами мужланом – простите ещё раз за такую откровенность – задача не из лёгких и не из приятных, согласитесь. Однако, перебрав за пару лет прочие варианты, которых, правду сказать, и не было особенно, Гирш всё же принял тяжёлое для себя решение, о котором я только что вам поведал. Ну не мог он смотреть на мою мать без сердечного спазма: как ходит, как моется, как тянется к чашке со стула, приподняв тело над сложенными в коленях ножками, как ест суп десертной ложкой, как

укутывает зимой лицо поглубже, чтобы сойти за девочку, как смотрит на здоровых и весёлых людей, сглатывая привычную, не отпускающую ни на минуту, загнанную в глубокое нутро боль от случившейся несправедливости...

Я и сам хорошо это знаю, ясное дело. Но у меня, в отличие от мамы, есть брат, такой же как и я, только младше на семь с половиной минут. Впрочем, для нас, карликовых «нанистов», разница в минутах и даже годах не столь важна – тоже, надеюсь, понятно почему. Все мы маленькие человечки с полудетскими-полувзрослыми лицами, надёжно укрывающими наш возраст и тем самым отдаляющими нас ещё больше от мира остальных людей. Наши головы несоразмерны нашим телам. Наши лица чужды нашим голосам. Наши желания превосходят наши возможности. Наши страхи не отпускают нас никогда. Наши обманные сны дают нам лишь неосуществимые шансы. Наши дети – у нас их нет. Наши близости, наши любви – получают скорее вынужденно, чем по чувству и страсти. Наши тщетные помыслы не оставляют надежд...

Надо сказать, что мамино положение всегда было лучше, чем у многих других. Прекрасно расти в возрасте 9 лет, тело её продолжало формироваться, подчиняясь лишь ему одному известному закону выживания карликов. Причина, образующая особенности развития, никогда не известна, тем более что оно может начать свой отчёт с любого непредсказуемого никем дня. В результате пропорции мамыны – это я могу с уверенностью сказать, исследовав многочисленные фотографии, нашёлканные в разные времена дедом Гиршем, – практически не изменились с того года, когда выяснилось, что больше она уже не вырастет. Дюкина головка, девчоночья по размеру и форме черепа, ладно примостилась на тонкой шее. Красивые плечи, тонкие руки, узкие бёдра, чистая до полупрозрачности кожа, отсутствие возрастных искривлений и некрасивых наростов – всё это оставалось с ней, словно законсервировалось к финалу 9-летнего отрезка жизни. Разве что грудь со временем подалась чуть вперёд двумя острыми коротенькими бугорками и лицо... Лицо, продолжавшее взрастать согласно течению жизни, диссонировав с остановившимся в развитии телом, казалось несколько взрослее. Наверное, Гандрабура прозвал маму Дюймовочкой не только из-за её детского роста, а даже скорей из-за неизменно выразительной девчоночьей грации.

У нас с Нямой всё не так. Мы не останавливались в росте, мы сразу, в отличие от мамы, вышли на белый свет уродцами. Так что кривоваты, не скрываем. Ну и остальное всё, если говорить о наших пропорциях, тоже не самого отборного качества. Зато я мужик, это точно – понимаете, о чём я? Вполне настоящий. И Нямка такой. Так вот я и говорю, что лично нам повезло, потому что нашу с братом беду мы делим на двоих и оттого на каждого приходится только половина несчастья. С оставшимися половинами мы обычно поступаем по-разному, зависит от обстоятельств. Но об этом не сейчас, ладно?

Предварительное знакомство молодых, как к этому ни относиться, всё же было необходимо. Это дед, само собой, понимал, хотя и несколько дёргался, опасаясь пары-другой вариантов непредсказуемости в развитии событий. От этой встречи теперь зависело и остальное, включая самое главное, для чего он и затеял всю эту околосемейную авантюру, – дочкино будущее.

В дом Лунио Гандрабура пришёл с опозданием ровно в один час, как будто подгадал специально, чтобы изначально не угодить. Гирш встретил гостя с вытянутым лицом, фальшиво улыбнулся, но ничего не сказал. Кивнул на тапки и на свободный крючок для огромного Иванова тулупа. Чуть позже и сама Дюка, со свойственной ей мягкостью и терпеливостью, сделала вид, что так оно и должно быть и что на фоне большого и красивого малое и пустяковое существенной роли не играет. Оттого Иван и не придавал никакого значения своему первому проколу. Он даже не понял, что вообще что-то произошло: ему не сказали и не поставили на вид. Через годы, вспоминая, как дедушка рассказывал нам с братом историю возникновения нашего отца, я догадался, что не было в тогдашнем его опоздании ни просчитанного вызова в адрес будущей родни, ни демонстрации личной безответственности, присущей раздолбам

всех мастей, ни желания выказать наличие характера, чтобы сразу срезать и приготовить будущих родственников к серьёзному мужику в доме, хоть и не хозяину.

Просто Иван, в силу своей персональной особенности, не был в курсе, что объявленный для гостевого визита час является всамделишным руководством к последующему действию. «В 5 часов», к примеру, для него означало «где-то уже после обеда, но ужинать пока ещё не сели». То есть «ближе к вечеру», в общем. Он так и пришёл, как понял. Ничего личного, чистая душа, не замущённая условностями и этикетом. Зато вместо цветов принёс две бутылки водки. Не располагал данными, что из питья там будет на столе и употребляет ли эта маленькая вообще чего-нибудь. Про Наумыча знал, что со своими тот не принимает. Ни разу замечен в рабочее время не был никем. То есть больной или хитрит. Или принцип специальный, чтобы идти по службе дальше ещё. Дело его, вольное, но иметь с собой на случай казуса надо всегда, сгодится, если что.

Пока шёл, пока искал адрес, прикидывал заодно, сколько надо нормальному карлику, чтобы забуреть. Решил, что не от роста всё, а от веса. Потому что карлики тоже бывают разные, как и карлицы. Кто, например, запрещает им быть полненькими? И за один раз принять на грудь граммов 400, допустим? Кстати, о теле Марии этой Лунио, о типаже самой фигуры он забыл поинтересоваться у отца её. Не принял в рассмотрение, озадачившись сразу другими позициями, основополагающими.

Невеста, неслышно ступая, вышла в коридор из своей мастерской только после того, как гость стянул с плеч свой охранницкий тулуп из грубой, засаленной местами овчины, приладил его на вешалку и стал разуваться.

Первое, на что Маша обратила внимание, были гостевы сапоги. Своим небольшим размером они странным образом не совпадали с могучей статью явившегося в их дом чужого мужика. Она с надеждой подняла глаза, и того, чего она тайно опасалась, не произошло. Не споткнулся глаз её о лицо гостя и не отвёлся. Наоборот, мужик этот представлял собой большерослое добродушное на вид создание, с чуть смущённой полуулыбкой на довольно приятной открытой физиономии, которую не портила даже небритость, также не оставшаяся незамеченной с высоты 90 см от пола. Аккуратные миниатюрные Дюкины туфли на каблук оставляли исходную высоту точки взгляда на том же уровне. Мелькнула мысль – тот самый, ночной, первый. И Маша не смогла сдержать внутренней улыбки от такого своего предположения.

Далее у гостя просматривались обожжённые уличным морозом красные ручищи с мозолистыми потёртостями на подушках пальцев, растянутый, с зацепами и безнадежно обвисшим горлом вязаный свитер Франиной выделки, пузыристые на коленях неопределённого фасона и цвета штаны, не дотягивающие до щиколоток, и шерстяные носки с двумя заплатами, равно-велико задранные чуть выше пяток. Таким был её будущий партнёр по жизни.

Вбив ступни ног в хозяйские тапки, Иван первым делом вытянул из карманов две свои бутылки. Затем, обнаружив в коридоре неприметную хозяйку, подал бутылки той. Перед собой и вниз.

– Натё, Мария, – сказал он, потупившись на всякий случай, чтобы не ошибиться в оценке ситуации. – Это к вашему столу. Меня Иван звать. А вас?

– А меня Мария, вы правильно сказали, Ваня, не ошиблись. – Она протянула вперёд маленькие ручки и приняла гостинцы, доставленные Гандрабурой. Подавая, он обнаружил на пальчике её левой руки удивительной красоты кольцо со сверкающими разноцветными огнями, исходившими от увесистого камня прозрачной наружности и в золотой, судя по виду, оправе. Прицокнул от удивления языком, но ничего не сказал. Просто не знал, что говорить про такое и какими словами. Да и не время было пока.

– Только я не знал, пьёте вы её или не потребляете, – вымолвил Иван смущённо и с некоторым сомнением в голосе, но уже несколько отпущенный внутренностью после того, как подарок его был принят.

– Вы с папой лучше выпейте, а я на вас просто посмотрю, ладно? Я знаю, что вы непьющий, но раз в гости к нам пришли, то, наверное, немного позволить себе можно, да? С селедкой под шубой, – вежливо обрисовала ситуацию дочь хозяина.

– В смысле? – искренне не понял Иван. – Под какой шубой? У вас не топят, что ли? Незаметно вообще-то.

И стал неуклюже озираться по сторонам.

– Давай, Вань, давай, проходи, – прервал неловкость Григорий Наумович, всё это время молчавший. – Шуба – это свёкла с майонезом и все дела. Сейчас всё узнаешь. Привыкай потихоньку.

На самом деле визит уже можно было успешно завершать. Дед понял, что противопоказаний не предвидится. Слишком хорошо знал свою дочь, чтобы теперь, после короткого, но многозначительного Дюкиного реверанса предположить с её стороны любое другое развитие события, кроме того, которое сам же для её блага и сочинил.

«Глянулся всё же ей наш мудлон, – обречённо подумал он, не особенно радуясь такому факту, но и не огорчаясь явно. – Теперь дело за этим уродом, чтоб ему пусто было».

И обратился к дочери. В это время они уже сидели за столом. Было налито и разложено.

– Ну что, Машунь, за нашего гостя? И за всех хороших людей?

Дюка, устроив своё маленькое тело на двух подложенных под махонькую попку думочках среднего размера, подняла фужер с ситро, улыбнулась хорошей улыбкой и произнесла со своей стороны, тоненько и весело:

– За всех, папочка! За них и за нас! – и посмотрела на гостя. – Да, Ваня? – и после стеснительной паузы добавила уже тише: – Вы согласны?

Вопрос этот, на ощупь сконструированный Дюкой, предполагал чуть более широкий смысл, нежели тот, в котором прозвучал. Это понимала сама она, это прекрасно почувствовал и Гирш. Другой, закадровый, план не уловил лишь Иван. Но зато и он с готовностью протянул перед собой рюмку, громко чокнул ею по двум другим и простодушно угодил в невинно расставленную сеть:

– Да я всегда! – заулыбался он. – Не вопрос, кто ж откажется от такого дела!

И опрокинул в себя рюмочное содержимое. И снова была допущена непонятка с его стороны, что ужасно разозлило Гирша. Из слов Ивановых можно было понять, что приветствие его явно выражает согласие на взаимность с дочерью хозяина. Но это если бы тот был поумней. А так, скорей всего, слова эти просто обозначили солидарность и признательность в адрес хороших людей, о которых упомянула Маша.

«Чёрт бы его побрал, идиота, – подумал Гирш, – что же дальше-то будет, когда дозу свою примет?»

Однако опасения его были напрасны. После первой, и особенно третьей, рюмки и уже под нормальную горячую еду, когда первые две, пройдя в кровь, полноценно достигли капилляров, Мария начала нравиться Ивану всё больше и всё активней. Только сейчас он стал подмечать в хозяйке то, чего получасом раньше не разглядел. Тонкая вся, без лишней кривизны, как у других маленьких тёток, глаз добрый, улыбочивый, не злой. Лицом выглядит почти на свои года, а корпус недотягивает. Но всё остальное имеется, от низу до макушки, вполне себе ничего, только негабаритное.

«Главное, не порвать её такую... – подумал он неожиданно и подлил всем, каждому своего. – Остальное – решим, и не такое решали...»

Какое это было «такое» и в какие жизненные моменты – сразу не всплыло. Наверное, что-то про времена армейской службы. Потому что ничего другого интересного в Ивановой жизни, кроме этих памятных лет, пока не случилось. Он даже хотел одно время, собираясь на дембель, пересмотреть общую концепцию существования и труда, отдав себя армии навсегда. Но тяга к мирному жизнеустройству всё же перетянула собой военную перспективу, в которой хотя всё и

было предельно понятно, но имелись ведь и свои минусы: кормили, может, и обильно, зато не аппетитно, без лишних калорий, и ещё не было никакой регулярности с бабами, всё спонтанно, а чаще просто совсем никак. И тогда служивых выручал лечебный бром в пузырьках и рассказы очевидцев вкупе с рукоприкладством.

Однако далее размышлять об этом было уже за пределом текущей необходимости, нужно было определяться с тем, что есть.

«Беру! – твёрдо подумал он про себя. – Беру и точка!»

Несколько иначе о совместном их будущем, но с похожим результатом думала, сидя напротив Ивана, сама Дюка Лунио.

«А он милый всё же, хотя и неуклюжий. И, кажется, немножко робеет. Аппетит отменный – значит, здоровье в порядке. В общем, надо попробовать, прав папа, от добра добро не ищут. И братъ. А потом – влюбляться, явных противопоказаний нет. Сильный мужик, и видно, что одинокий. И не хам. И смотрит искренне, без лживого сочувствия к женщине в моём положении. Только бы не повредил он меня, не дай бог. И правда, как папа и говорил, просто богатырь какой-то сказочный...»

Гирш, минимально участвуя в разговорах и исподволь наблюдая за тем, как развивается застолье, не сомневался, что затея его провальная уже не станет, под какой бы уклон ни покадилась дальше беседа. Наоборот, результат зримо превосходил возможные ожидания. «Этот» сидел, раскрасневшийся и, кажется, немало довольный собой.

Квартира, в которую попал наш неприкаянный отец по чужой доброй воле, произвела на него впечатление, сравнимое разве с тем, какое было, когда ему, ещё мальчиком, сказали, что живое животное, запущенное Советским Союзом, летает в космосе в шарообразном спутнике Земли. Она тогда ему приснилась, то ли белка эта самая по имени Стрелка, то ли собака породы лайка по имени Белка, не помнит уже, лохматая, с закрученным колечком хвостом и человеческой мордой. Она ещё всё время жрала сосиски, одну за одной, без горчицы и без остновки, и смотрела вниз, на Ивана, через круглый иллюминатор. А Иван тогда взял да и пригнул космическую тварь пальцем, совершенно не рассчитывая на успех. А та, не переставая убирать сосиски, взяла да и развернула шар с антеннами и со всей силы устремила его вниз, на Ивана, который от страха закрыл тогда, помнит, голову руками и не мог убежать, потому что ему судорогой свело ноги, к тому же они намертво вплавились в раскалённый асфальт. И поэтому космический животный спутник ударился об Ивана, со всего лёта, сверху вниз. И маленький Иван заорал от боли и страха, описался и проснулся. После этого сна, кстати, он и стал расти быстрее других ребят, а ноги его, в ступнях, не успевали за ростом всего остального и доросли только до 38-го размера, как у царя-батюшки Петра Первого.

Так вот. Когда уже подъели основное и стали пить чай с конфитюром, Ивана пробило на откровенность. Первая бутылка к тому моменту вся вышла, а от второй оставалось меньше половины. Взвесив последние за и против, Гандрабура, разогретый питьём, салатом, селёдочной шубой, горячими блюдами, богатым домом и сидевшей напротив него хорошенькой малявкой, отставил в сторону недопитую чашку чая с кроваво-красным петухом на боку и наваленным внутри конфитюром, смахнул со скатерти крошки и сделал объявление:

– Григорий Наумыч и Мария! Хочу вам сообщить, что в вашей квартире мне очень нравится быть. И как гостю, и как в семье. Если к вам можно переехать, то я с полным удовольствием переселюсь. Как ваша Мария скажет. И как вы сами скажете. И буду честно жить, если вы так захотите. Мне, говорю сейчас прямо, больше знакомиться не нужно, я уже ознакомился. А вы мне просто скажите, что делать. И я это сделаю.

Он оторвал своё большое тело от стула, поднялся, окинул рассеянным взглядом жилплощадь и сел обратно, ожидая любого встречного слова от любого из Лунио. Григорий Наумович понимающе покачал головой и бросил тяжёлый, как бы прощальный, взгляд на дочь. Та намёк поняла и тоже встала, обращаясь к гостю.

– Дорогой Иван, я хочу сказать то, что наверняка хотел сказать и папа, но давайте лучше скажу я. Хорошо?

Иван важно и сосредоточенно кивнул, давая такое разрешение. Никогда ещё в его понятно устроенной жизни никто не интересовался Ивановым дозволением на что-либо вообще. Только на проходной. Но там он давал добро на вход и выход не по своей воле, а в силу служебного долга, хотя и не принимал никакой присяги, когда нанимался. Сейчас это было приятное чувство, и он успел ощутить его всем телом.

Тем временем Дюка, едва перекрывающая линией взгляда поверхность обеденного стола, закончила фразу:

– Мы рады тебе, Ваня, и поэтому хотим, чтобы ты жил в нашем доме вместе с нами. И мы верим, что всё у нас будет хорошо, не хуже, чем у других, если ты тоже не против такого подхода к совместной жизни. А время покажет, ошиблись мы или не ошиблись. – И снова забралась с ногами на стул и думки.

Гандрабура встал уже окончательно, отодвинув свой стул в сторону. И подытожил встречу вопросом:

– Так мне когда за вещами? Сейчас? Или как?

– Завтра, Иван, завтра, – с заметным усилием изобразив гостеприимство, Гирш тоже поднялся из-за стола. Получилось финально и напутственно. – После обеда приходи, мы всё тут подготовим пока. Перестановка кой-какая потребуется. – А сам подумал, что придётся срочно перетащить свою кровать в дочерину спальню, а то какая ж это получится у неё жизнь с двухметровым мужиком на детской кроватке. Или срочно оборудовать им другую, нестандартную, больше двух метров в длину. Не смог удержать в себе улыбки, выпустил-таки наружу, несмотря на настроение, похожее на похоронное. «Надо же, задачка – два противоположных нестандартта рядом теперь уместить потребуется». – И озвучил печальный для себя итог: – И заживёте. А там видно будет...

Теперь, когда история Лунио мало-помалу начала слепляться в снежный комок, размером с детский кулачок, чтобы со временем вырастить из себя объёмный снеговой шар, когда герои её чуть размялись и немного разговорились, пришло время притормозить, чтобы обернуться и откатить повествование назад, к тем временам, когда ленинградский подросток Гриша Гиршбаум ещё не ведал о том, что впоследствии станет Гиршем Лунио. Перед самой смертью он рассказал нам об этом, решив проставить точку в истории нашей фамилии. А история эта такова. Надеюсь ничего не упустить в попытке воспроизвести её с максимальной точностью. Итак, рассказывает Гирш, дед.

## Глава 3

«Отец мой, Наум Евсеевич Гиршбаум, был довольно известный в городе ювелир. Женился он поздно и по первой любви, пришедшейся на его 60 и мамыны 41. Так уж в нашей семье случилось. Брак их был первым для обоих. Мама, страдающая всю свою жизнь от врождённого порока сердца, сознательно не искала себе мужа, предпочтя безбрачие. И на то были свои причины: она безгранично любила детей и всегда хотела ребёнка, однако знала, что стать матерью ей не позволит сама природа, роды, скорее всего, её убьют. По крайней мере, так пугали врачи, страхуя и себя, и маму от нежелательных последствий. И чем взрослее становилась ваша прабабушка, тем больше возрастала опасность материнства, о котором она не переставала мечтать. Другое дело, что, родившись однолюбкой, она так и не сумела встретить своего единственного мужчину, ради которого решила бы на гибельный риск. Такое обстоятельство некоторым образом скрадывало неосуществимость мечты, но полного утешения, как вы понимаете, не приносило.

Так длилось, повторю, до её сорока одного, когда вместе с последними женскими годами безвозвратно истаивали и последние надежды на чудо. Которое не замедлило в том же самом одна тысяча девятьсот двадцать пятом году объявиться в лице моего отца, Наума Евсеича, поразительно схожего с мамой своим клиническим однолюбством.

В тот самый обычный день она пришла к нему заказать простенькое колечко с недорогим камнем для взрослеющей племянницы, а получила и колечко, и ювелира. Они просто насмерть вцепились друг в друга. И понеслось. Он подарил её ювелирными презентами, и она была без ума и от папы, и от его рукодельных талантов, и от остальных его многочисленных мужских добродетелей и достоинств. И потому, откинув все страхи и ненужные разговоры, наплевав на возраст и чужие тревоги по поводу возможной смерти, мама зачала меня в первую же неделю их знакомства – прямо в закутке при мастерской, не дожидаясь официальных церемоний: она ведь и так прождала его всю свою жизнь и не хотела более медлить. Оба они это знали. И обоим им было всё равно – что будет потом и что скажут люди.

В отличие от моего отца прабабушка ваша знала, на что шла: боялась, что он не даст ей осуществить главную её мечту – моё появление на свет. Но поделиться этим с папой не сочла возможным из-за боязни быть остановленной им же в самой главной своей мечте – в моём появлении на свет.

Мамины родные узнали о том, что она ждёт ребёнка, уже слишком поздно, чтобы вмешаться. Да и кто бы им дал это сделать. Поезд ушёл, гудок прогудел, разогретая до предела паровая машина уже вовсю молотила всеми поршнями и шатунами, набирая обороты. Саму же маму со временем неясные перспективы относительно протекания родов перестали волновать совсем. Счастье её было слишком огромно, «если даже не излишне», шутила она, часами наблюдая за тем, как творит папа. Как на её глазах рождается чудо за чудом, как податливо плавится разогретое до тягучести серебро, как причудливо вытягивается из него тонкая, мягким светом поблёскивающая нить, как узорчато укладывается она в неожиданный завиток и как он тут же затвердевает, обретая форму уже бессрочной красоты. И как потом они вырастают ещё и ещё, эти замирающие на глазах локоны, витки, шарики, букли и змейки и уже гнездятся совсем рядом, один к другому, обнимая камень со всех его сторон, одевая его в себя, обволакивая своим неповторимым плетеньем, тайна которого была известна только одному человеку на свете. А ещё она любила следить за тем, как чернится под огнём металлический скелет этого чуда, как шипит он в кислоте, готовя себя к новой жизни, как наливается светом, ярким и вечным, от которого больно глазу и блаженно сердцу...

А умерла ваша прабабушка не на операционном столе, вопреки ожиданиям врачей, успешно сражавшихся за её жизнь в момент, когда я появлялся на свет. Немногим позже, сразу

после второй операции, почти без перерыва продолжившей первую (теперь уже на открытом сердце, для чего пришлось срочно менять бригаду хирургов и операционную), сквозь предсмертную муть она успела посмотреть на меня долгим запоминающим взглядом, насколько хватило её слабых сил после того, как она очнулась от наркоза. Меня принесли в реанимационную палату и приблизили к её умирающему лицу – так, на всякий случай, не будучи уверены в том, что успеют.

Ещё через час мама умерла, успев остатками покидающего её утекающего сознания порадоваться, что оставляет папе сына. Меня. Так думалось палатной сестре, которая поведала о том моему отцу. Так ей показалось. Или же она просто хотела таким простодушным приёмом ослабить, насколько получится, отцово горе.

Все заботы обо мне с того дня легли на папу. Стоит ли говорить о том, что ваша прабабушка стала последней в его жизни женщиной. Когда её не стало, что-то внутри у него остановилось. Перестало бесперебойно тукать и заводиться. Затормозился привычный ход вещей. Коротким оказалось счастье, меньше года продлилось. А несчастья принесло с собой не меньше, чем было само. Правда, остался я, как часть мамы, её образа, так и не успевшего дополна насытить собой папину память. Я виновник и жертва в одном лице, сын матери, которую так никогда и не увидел, если не считать того размытого, кратковременного и перевёрнутого изображения в белом цвете, которое было моей умирающей мамой.

Когда мне было шесть, шёл тридцать второй год. Они пришли и сказали, что надо делиться. Так и заявили, прямо с порога, чтобы не было времени соображать. Двое в коже и один в пиджаке. Все из ОГПУ. Не орали и не ругались. И даже не попросили увести ребёнка, то есть меня. Предъявили заготовленный акт об изъятии излишков материальных ценностей, жертвуемых гражданином Н.Е. Гиршбаумом на благо индустриализации советской родины для скорейшего и победного построения социализма в Советском Союзе. Фабрики строить надо? Надо. Заводы? Еще как надо! Голодные есть еще советские люди? Нет в основном, но поддержка необходима для экономики, чтобы и не было их никогда, голодающих.

И добавили, тот из них, который был в пиджаке, тоже не давая ответить:

– А вы, наверное, гражданин Гиршбаум, жируете тут на вашем золотишке неучтённым? Камушки разные... то-сё в придачу. Лучше сами накопленное от народа сдайте, не вынуждайте нас силовую власть применять.

И повторно предложили добровольную сдачу. Знали, что у ювелира не может не быть. Тем более у такого известного, запись к которому за год и больше.

– У меня весь материал заказчика, – спокойно попытался обрисовать ситуацию Наум Евсеевич, не испугавшись незваных гостей. – Я имею заработок только как мастер. И плачу патент.

После смерти мамы он вообще мало чего боялся. Только за меня. Всё остальное перестало для него существовать. Работал по-прежнему, держа качество изделий, но душу не вкладывал, не мог, перестал, ушла душа, утекла вместе с мамой. Так он мне говорил.

– Забирайте, что сочтёте нужным, только знайте, что забираете чужое. Из моего здесь только инструменты, оптика и стул.

Трое разбираться не стали. Выгребли и описали, что нашли. Всё и на самом деле было чужим, кроме мелочовки. Потом вывели нас с отцом во двор, посадили в «Опель» и повезли к нам домой. Там дочистили остальное, уже своё, домашнее: несколько николаевских червонцев и пятнарей, три советских золотых червонца выпуска 23-го года, остаток торгсиновских долларов, с полкило весового серебра в мелких монетах, ну и прочее разное. Слава богу, не заметили мамино кольцо, того самого, что папа подарил, с камнем на трёх металлах, самое изумительное из всего, что сделал. Не нашли, потому что на видном месте лежало, неприбранное. Туда они сгруппе не заглянули. А папа и не убирал далеко, потому что часто в руки его брал, пальцем в задумчивости тёр, к лицу подносил, щеки своей касался, потом смотрел долго,

словно маму через это кольцо оживлял. Так он её вспоминал. Одним словом, выкормыши эти, что от лукавого пришли, драгоценность семейную упустили. И до слитка – тоже не добрались.

– А то бы худо было нам совсем, Гришенька, – сказал мне тогда папа. – Там бы изъятием одним не обошлось.

А Сталина, погань эту, ненавидел с первого дня, как того поставили на власть. Верней, когда тот сам её взял, обойдя других. Зверя, говорит, чую в нём. Это ведь он Владимира Ильича в гроб загнал, и никто другой. Был бы Владимир Ильич живой и здоровый, никто бы к нам в дом так нагло не заявился, никто бы на память мамину покушаться не посмел, так и запомни, сынок. И ладно ещё, «золотуху» учинил! Голодомор тоже от его личного умысла идёт, от преступного – что Поволжье всё уморил, что Украину, убийца.

Эти слова он адресовал больше себе, чем мне, но я был всегда под рукой, при нём, потому что жил без матери. А в те годы уже и без прислуги. И все отцовские откровения как бы обращены были ко мне. Ему тогда уже было шестьдесят семь или около того. Забывался. И не думал, само собой, что пойму что-то из его слов и запомню. А я слова его не забыл. А потом, через время уже, и осмыслил к тому же. Всё, о чём и что он говорил.

– Пойми, Гришенька, Ленин умер, но идеи остались. Сталин сдохнет, а Владимир Ильич будет жить вечно. НЭП, свободный и справедливый труд – его придумка, а не зверя этого. Жаль, что довести не смог, не успел. Этот гад его кончил, обошёл, обдурил, в болезнь загнал неизлечимую...

Но и потом, после экзекуции этой, нужно было жить дальше, а значит, работать. С обделёнными невольно заказчиками отец спорить и ругаться не стал, отдал им всё, что изъяли, из личных ресурсов. Плюс остаток долга каждому добивал потом работой. Те бы сами, возможно, и не спросили о возврате, знали, что не обманывает Григорий Наумович Гиршбаум, не та репутация у старика, чтобы на чужом горе наживать себе избыток. Да многие и сами пострадали немало, по схожему сценарию. Но они-то, в отличие от отца, были состоятельными по-настоящему. Бывшие нэпманы, к примеру, успевшие на этой самой политике славно разбогатеть, известные врачи, успешные адвокаты, люди творческих профессий, включая знаменитостей. А также разное подозрительное начальство, связанное в основном со снабжением кого-нибудь чем-нибудь.

То обстоятельство, что долг его мог быть и прощён, роли для отца не сыграло. Человек чести и слова, что тут говорить. Отдал и отработал всё до копейки.

После этого проклятого тридцать второго жить нам с папой стало трудней. Богатеи попрятались, заказы помельчали. Так разве что цепочку порванную пропаять, колечко невестино растянуть, ушко на кулончик приладить, защёлку под медальон подправить. И прочее.

А году в тридцать восьмом, кажется, пришёл к папе человек один, чин из НКВД, из Германии вернулся только, после долгой там работы на нелегальном положении – так я потом про него догадался. Худющий сам, но видно, что не от нездоровья, а по комплекции своей, по сложению. Заказ для жены делал – как оказалось, прощальный. Пьяный был сам, после ресторана. Нет, скорее, просто не до конца трезвый. Чувствовал уже, наверное, что по следу его идут, со свободой прощался. Он и сказал отцу, по секрету, потому что знал его давно и уважал. Сказал, будет, мол, война с Германией, Григорий Наумович, как пить дать, будет. Не может не быть. Два года, самое большее – три, и пойдёт немец на нас; сначала Европу положит, и та ляжет под него, как швед лёг под Полтавой, а после за Советский Союз возьмётся. И завоюет, в первый же год, сразу, зуб готов отдать вам свой золотой, многоуважаемый наш ювелир. А вина будет лично на усатом негодяе, на преступнике. Не найдётся у нас силы такой, чтобы Гитлера одолеть, нет у нас её просто, Григорий Наумович, неоткуда ей взяться. А одним народом не повоюешь, одним его желанием силу немецкую и порядок их не победишь, уж я-то знаю, видел.

Отец тогда вроде как и не услышал про это дело, про придуманную этим начальственным заказчиком войну с немцем. Усмехнулся себе в усики, руку тому чину пожал на прощанье,

обещал с заказом не опоздать. Только всё равно опоздать пришлось. Расстреляли заказчика папиного в том же месяце. В газетах писали, что германским шпионом был. Или японским, не помню. Главное, что когда отец, не дождавшись, пока заберут, сам уже к ним домой работу готовую понёс, то дверь у них была заперта и никто не отзывался. Так и остался заказ лежать нетронут. Отец его не хотел никуда пускать, ни на реализацию, ни на материал обратно. Такой уж он был, кристальной совести человек.

Я тогда в школе учился, кажется, в седьмой класс перешёл. А папа стал болеть. Сердцем. И астмой. Задыхался. Они между собой как-то связаны оказались, два эти недомогания, доктор потом говорил. И папа уже почти совсем не работал, мы на пенсию его жили и на ранее отложенное. Иногда только для особенных каких-нибудь старых клиентов что-то делал он, для проверенных, и если только интересное что, как память о профессии своей любимой, о ремесле.

А совсем плохо ему стало ранней весной сорок первого. Война в Европе уже всюю шла тогда, хотя для нас ещё не началась, но папа уже всё заранее обдумал насчёт того, что чин из органов ему тогда перед своим арестом рассказал без утайки. Помню, в тот день отец в кабинете лежал у себя, на диване и подозвал меня к себе, поближе. Уже плохо говорил, тихо, трудно было воздух лёгкими выталкивать. Сказал: я тебе сейчас буду говорить, а ты записывай. А ещё лучше и запись делай, и запоминай, сыночек.

Я ему принёс все его тетрадки старые, блокноты и другие бумаги. Он листал, вглядывался и говорил, что писать. Я и писал. В основном это были адреса, имена, должности и телефоны разных людей, богатых и тех, кто при власти. Как их звать. И жён, если знал, или мужей, наоборот. Родню тоже, прочую. Короче, всех, кто за долгую жизнь клиентами его числился и у кого деньги были и хорошее имущество. Все наши, городские, ленинградские. Когда перебрал всех, кто был, сказал:

– Это адреса и люди, куда ты можешь потом пойти, Гриша. Чтобы выжить.

Тогда я, помню, кивнул, но принял его слова за большое чудачество. На него смотреть уже было нельзя без содрогания: высушенный весь болезнью, небритый, голос не проходит наружу, прерывается. Он уже знал про себя, что осталось ему вот-вот. Тем более удивился я, когда он распорядился уже совсем странным образом поступить.

– Завтра пойдешь по магазинам и начнёшь скупать разные продукты. Запиши, что надо. – И стал диктовать: – Первым делом, тушёнка. Сразу за ней – водка. Водка и папиросы, самые дешёвые и крепкие. Сколько удастся закупить, столько надо брать, без ограничений. Потом... гороховые консервы, в супах, они питательные, на свином сале, крупы – все, какие найдёшь, но больше бери гречку, овсянку, пшено и муку. Главное – муку. И дальше. Рыбные консервы, сухофрукты – для витаминов, колбасы сухие, самые сухие, какие будут. Дрожжи, сухое молоко, масло подсолнечное, в бутылках, картофельный крахмал. И мёд, обязательно мёд. И соль, много соли, и много сахара, в кусках, тогда он не слипнется. Очень много. И мыло. Тоже много. Тоже очень.

Я записывал и недоумевал. Однако решил не вступать в спор с уже совсем больным папой. Так мы с ним составили целый огромный список того, чем следовало запастись. Когда перечень подошёл к концу, отец сказал мне:

– Теперь слушай сюда, Гиршик. Всё это будешь носить в дом понемногу, чтобы не привлекать ничьего внимания. Потребуется время, довольно много. Покупать и носить будешь каждый день. Думаю, что за месяц-полтора справишься. – И посмотрел мне в глаза: – Так мне будет спокойней, сынок. Потому что ты останешься один, и всем им будет на тебя наплевать. А гаду этому особенно, запомни это. И не дай ему себя убить.

– А при чём здесь вся эта еда? – удивился я совершенно искренне. – Зачем нам с тобой столько? И где у нас деньги на это на всё?

– Деньги дам, денег хватит, – отмахнулся папа. – Они скоро совсем не нужны будут. Никому. А то, что ты запасёшь, то и будет деньги, когда начнётся повальный голод. Когда

Гитлер рвать нас станет до смерти. Я только так вижу это, и никак по-другому. И он видел, а они его за это убили.

Я подавленно молчал, переваривая слова моего папы. В то, что он пребывает в своём уме, верилось уже слабо. И неясно мне было, имел ли он в виду в последней фразе ту шишку из НКВД, расстрелянную три года тому назад, или по обыкновению вспомнился ему в тот день мёртвый наш вечно живой вождь Владимир Ильич, чьи идеи так и остались неосуществлёнными.

Денег он дал много. Очень много. Это были, как я понял потом, деньги, отложенные заранее. За проданный слиток, схоронённый от тех троих ОГПушников. Про него он, помнится, как-то вскользь упомянул в своё время. Но больше темы не касался.

Выданные мне отцом средства были в нашей семье последними. Если не считать двух оставшихся ювелирных вещей, не подлежащих никакой продаже никогда. Мамино кольцо и готового заказа для чина из органов, пообещавшего нам войну с немцами.

Примерно до начала июня каждый день я, как заведённый, выполнял волю отца. Приходил в магазин, набирал продукты, тащил домой и складировал в квартире. Сначала постепенно забились кладовка. Получилось до самого потолка. Когда незанятого пространства не осталось, перешёл к коридорным антресолям. Лыжи, велосипед, прочее старье перетащил на балкон – так велел папа – и разместил рядом с двумя канистрами с керосином. А освобождённую под потолком площадь начал заставлять консервами. Туда же хорошо и удобно легли макароны с вермишелью вместе со ста пятьюдесятью упаковками печенья. Покончив с антресолями, перешел к кухне. Стало гораздо проще. Там всё было известно – где чего. Одно к одному, не меняя географии товара.

Отец ходил уже совсем тяжело, сухо кашляя кровавыми лохмотьями в мокроте, и молча отслеживал, как я справляюсь с его заданием. Ничего не говорил – значит, был доволен. К тому времени я уже заканчивал обставлять пачками и мешками отцовскую спальню, потому что он окончательно перебрался к себе в кабинет. Папа практически уже не спал. Да и не ел тоже почти. Только кашлял беспрестанно и пил горячий отвар.

Последние выданные мне деньги я потратил четвёртого июня, как сейчас помню. Как раз тогда я выбрал все оставшиеся пустоты спальни и разместил остатки покупок в своей комнате. Шестого принесли пенсию, и отец её тоже отдал мне. А под утро, в ночь с шестого на седьмое, мой отец, Наум Евсеевич Гиршбаум, умер. У себя в кабинете, на кожаном диване. И через три дня был похоронен рядом с мамой на Волковом кладбище, недалеко от того места, где лежала мать Владимира Ильича Ленина, основателя нашего государства, чьи идеи остались с нами, несмотря на то что сам он давно лежит в мавзолее на Красной площади.

Ещё через десять дней на мамином могильном камне появилась дополнительная золочёная надпись и добавилось одно керамическое фото, на котором папе было шестьдесят с небольшим. И всё.

Так я остался один, с отцовской месячной пенсией в кармане, законченным на «хорошо» и «отлично» восьмым классом средней школы и бессмысленным запасом непортящихся продуктов, которых должно было, по моим прикидкам, хватить примерно до конца жизни средней продолжительности...»

## Глава 4

В этом месте я прерву эту повесть, чтобы вернуться к ней позже, – картина должна складываться правдиво, но постепенно и не слишком утомлять вас подробностями чужой жизни. А пока продолжу про другое. Про низкое. Про бату нашего, Гандрабуру, и про всё остальное.

Нет, сначала лучше про маму, про Дюку. Её давно уже нет, а отец жив и здоров. Так вот, дальше. Иван переехал в дедову большую квартиру в тот же день, когда уволился по собственному желанию. Верней сказать, по желанию Гирша. Дед не то чтобы принципиально был против, чтобы Иван работал, но просто, настаивая на увольнении зятя с фабрики, он преследовал двойную цель. С одной стороны, не хотел светить перед тамошними упаковочными образовавшиеся между ним и его подчинённым родственные отношения. С другой – посчитал полезным на первых порах нагрузить получившийся союз дочки с Иваном чрезмерным совместным времяпрепровождением, чтобы просто поглядеть для начала, что получится при такой интенсивности общей жизни.

Идея была, в общем, неплохой, хотя и не революционной. И здравого смысла в ней было немало. Подумал, пройдёт неделя-полторы, и начнёт с божьей помощью вырисовываться объёмная картина, которую видно будет всю насквозь. Как встали, что поели, о чём поговорили, как поулыбались друг дружке, с какой взаимностью, где прячется у кого козья морда и по какой причине она есть, если вдруг имеется. Ну и немаловажное – как ночью всё получается: нужно ли преодолевать себя с каждой стороны или всё, что случается, будет в радость обоим. Или хотя бы кому-то одному, по отдельности. Кому?

Сначала хотел поговорить с Дюкой на эту деликатную тему, найти подходящие слова и обсудить. Правда, одолевали сомнения. А вас бы не одолевали? Представьте себе мысленно всю эту картину, прикиньте и разложите по замедленным кадрам, как в кино. Поймёте тогда, что испытывал Гирш на своём месте, особенно в первый день. Я хотел сказать, в первую их ночь, отца и матери нашей.

Но, обнаружив наутро дочь с выражением рассеянной загадочности на маленьком светящемся лице, план свой отменил. Понял, что в этом смысле препятствий вроде пока тоже не наблюдается. И, выйдя на кухню, тайно перекрестился, по-православному, хотя и не умел, но на всякий случай.

Единственно ответственным делом теперь, о котором Иван помнил всегда после переезда к Лунио, стало поддержание им сытости своего большого организма, что в его теперешнем положении явилось по-настоящему важной работой. Кушать Иван любил, ел много и в охотку, как бы принудительным порядком выбирая с опережением срока дивиденды от случившегося в жизни новообразования. Средства на существование, в силу имеющейся договорённости, выдавал Гирш. Он же ими и заведовал. Это означало следующее: банкноты вынимались из положенного места, затем они, в объёме, близком к предстоящим тратам, выдавались семейству на прожыву и тем же днём обменивались на товары народного потребления, по семейной нужде: будь то съестное для холодильника, предметы одежды или объекты другой житейской необходимости. Денег хватало всегда, отказа не было ни в чём, даже в малом. А про большее никто и не заикался, особенно Иван, разумея своим вечно голодным чревом, что надлежит держать негласный баланс между запросом и отдачей. Так что недостатка, который по обыкновению испытывают молодые семейные образования, не наблюдалось вовсе. К тому же мудрый Гирш ухитрялся не быть транжирой, несмотря на явный запас финансовой прочности неведомого до поры до времени происхождения.

Иван немного знал про дом, в который попал, больше чуял про него. И чутьё это в те минуты, когда Гандрабура не ел, не спал или не читал, шевеля губами, дурманские книжки из тестевой библиотеки, подсказывало, что семейный статус его не окреп ещё настолько, чтобы

не быть аннулированным при известном стечении обстоятельств. Даже несмотря на всю без остатка Дюкину взаимность в самом что ни на есть сердечном смысле слова.

Гирша, внимательно наблюдавшего за жизнью дома, разрывало на две неравные части. Каждая из них с переменным успехом одолевала другую, соперничая по значимости и силе чувства. С одной стороны, если отбросить узловую человеческую составляющую, сумев выделить из неё и оставить для употребления лишь усушенную функцию, Иван вполне подходил для исполнения роли мужа карлицы-дочки. Тем более что едва ли нашёлся бы поблизости кто-то ещё помимо этого крупногабаритного, ленивого и неумного мужика, бездумно идущего на поводу у случайных жизненных обстоятельств. Снова прошу извинить, что это я так про родного отца, пускай и незаконного, но сейчас уже можно. Уже давно многое можно, чего раньше было нельзя. Но это к слову, иду дальше.

Именно так думал мой дедушка Гирш, руководствуясь в своих расчётах единственным и исключительным соображением – годы неполной обыкновенно жизни, отпущенные таким, как Дюка-Мария Лунио, должны протекать в радости и максимальном удовольствии от каждого календарного дня. И на место упаковщика этого удовольствия дедом, прекрасно понимавшим, что уже изначально платит ошибочную цену, был поставлен Иван Гандрабура. Цена же эта и являлась той самой второй частью, неистово сопротивлявшейся первой. Однако все прочие варианты представлялись Гиршу ещё более неприглядными: дедушка успокаивал себя тем, что польза от сожительства с Иваном, как ни посмотри, всё же весома. Уж что-что, а это я, Пётр Иванович Лунио, карлик, маленький человек и мужчина, по себе точно знаю. Вы в курсе, почему так? Потому что никакой нормальный мужик, если он не наш Иван, никогда не станет искать себе в партнёрши по жизни карликовую жену. Колом осиновым встанет в нём протест изнутри – ну не ляжет эта масть при нормальной раздаче, не сойдётся. А вот маленький, довольно симпатичный мужинка вроде меня или Нямы, да ещё если он интересен собой как личность, при этом вполне мил, остроумен, не вреден, оптимально лукав и к тому же обладает приличным мужским инструментом, превосходящим в пропорциональном отношении 90 сантиметров имеющегося роста, вполне способен вызвать пристальный ответный интерес у полноценной крали, не имеющей вообще никакого изъяна. Об этом и толкую в придачу к главной истории.

К своим 26 годам Дюка оставалась девственницей, что мало могло бы удивить любого, если не знать, конечно, о диагнозе «гипофизарный нанизм». Всякий раз, представляя себе своего первого мужчину, Дюка рисовала мысленно картинки приятные, но не позволяющие ей долететь в своих фантазиях до безудержных высот либо опустить себя до тех опасных неведомых глубин, о которых наслышана была лишь мельком и о коих голова её мыслить была не приучена вовсе. Дальше привычно сложившихся в её представлении об «этом» рамок шла уже полнейшая неизвестность, и в эту неизвестность, как она ни стремилась, ей попасть не удавалось. Даже если она старательно и пыталась пронзить незримый заслон своим небогатым в этом смысле воображением. Каждый из выдуманных ею партнёров по близости обладал ростом ниже среднего. Так для разума её было и удобней и понятней. Это сблизало её и мужчину, бывшего плодом её фантазии, в том тайном деле, которое они делали вместе.

Первый раз *он* пришел к ней под утро. Ему было около двадцати. Так же безукоризненно сложенный, как и она, со светлыми прямыми волосами и весёлыми глазами, излучающими ярко-голубой свет, перемежающийся радужными искрами. Он был абсолютно голый, но совершенно не стеснялся своей наготы. Ей было пятнадцать, и примерно с год назад у неё начались ежемесячные женские расстройства. Гирш об этом, скорее всего, ничего не знал, подобные дела они с ним ни тогда, ни потом ни разу не обсуждали. Ей же нравилось чувствовать себя настоящей маленькой женщиной. И это не раз заставляло её думать о разных мужчинах, временами совершенно забывая, что почти все они родились, чтобы сделать счастливой не её. Других. Но зато её воображаемые ночные визитёры принадлежали к полноценному мужскому

сообществу; ни один из них, являющихся к ней в её мечтаниях, рисунках или снах, не был карликом. Она вообще почти не встречала их в своей жизни, таких же как она, маленьких людей – негде было встретить. Город, в который её увезли, когда ей было девять, хотя и обладал статусом областного, но по сути мог считаться таковым лишь с большой натяжкой: ни культурной, ни индустриальной активностью не способен был тягаться с другими ближайшими областными центрами. Неудивительно, ведь одним из градообразующих предприятий испокон века тут числилась местная упаковочная фабрика, на которой, сколько Мария себя помнила, трудился её приёмный отец. Так что конкуренция в этом смысле практически отсутствовала, все придуманные мужики принадлежали только ей, Дюке. Как и самый первый её, огромный и сильный. Именно он и заставил её, начиная с того самого дня, то есть с ночи, неизменно возвращаться в мыслях к тому, чего нормальной девочке следовало бы стыдиться. А уж ненормальной тем более.

Он присел на край Дюкиной постели и сразу же завёл руку под одеяло. Нашупал Дюкину ногу, в самом низу, где щиколотка, чуть выше ступни, и затем неторопливо повёл руку вверх, скользя тёплой ладонью по Дюкиной коже. Было приятно и вместе с тем страшно. Всё происходило беззвучно, в предутренней темноте её спальни в доме Гирша. Единственный свет, благодаря которому она могла следить за происходящим, продолжал изливаться из его глаз.

Медленно продолжая перемещать руку вдоль Дюкиной лодыжки, а затем и бедра, он довёл её до того места, после которого ладонь уже некуда было продвигать, и остановился. Вопросительно посмотрел на Дюку и улыбнулся. Дюка на всякий случай крепко сжала ноги, но страшно ей уже не было. Почти. Потому что мужчина не проявлял никакой агрессии – наоборот, своей остановкой он как бы уже предлагал ей расстаться до следующего своего прихода. Но она не знала что ответить: ей хотелось спросить, как его зовут, чтобы, по крайней мере, избавиться себя от возникшей неловкости и начать какой-нибудь разговор. Она бы спросила, он бы ответил. Или наоборот. И тогда остатки страхов ушли бы бесповоротно, потому что гость её сделался бы окончательно живым и добрым, несмотря на то что голый. Но накрепко сомкнутые губы не позволили ей этого сделать. Чудодейственным образом они оказались связанными в единый узел с намертво сведёнными ногами. И те и другие должны были раскрыться одновременно. Или остаться в том же положении. Такой сигнал Дюка получила сверху. Быть может, из головы, а может, откуда-то ещё выше. И она поймала этот сигнал, но теперь это зависело уже не от её желания, а от волевого решения её предутренного гостя. Однако гость терпение Дюкино более испытывать не стал. Он ещё раз улыбнулся и ободряюще пощекотал Дюку, там, в самой глубине, между её маленьких сжатых ног. После чего медленно истаял в воздухе спальни, оставив после себя необычный слабый запах, которого она никогда не ощущала раньше, до этой первой её ночи с призрачным голым человеком, сильным, большим, неслышным и неназойливым. Таким, какой он и должен быть, её первый мужчина.

Потом были другие. Возраст варьировался в пределах от её лет и до сорока. Шире этих параметров она фантазировать не решалась – порой становилось всё же боязно, а иногда даже неприятно. Но это, если больше говорить о плотском, о самих телах. Если же касалось интеллекта, то его она, как правило, в рассмотрение не брала, отбрасывала сразу. Сказать откровенно, даже не задумывалась об этой стороне чувственного женского устройства. Вероятно, не допускала применительно к себе мысли о возможности настоящей людской любви, той самой, которая возникает не только когда плоть сливается с другой плотью, извлекая взаимные бие-ния. А той, которая могла бы существовать в самом воздухе и быть ответной: в слове, во взгляде, в движенье губ, в улыбке, в сорванном цветке, в припасённом вкусном кусочке, да в желании полетать, в конце концов. Но понимала вместе с тем, что такое возможно лишь вне её уродства.

Точно так же, как и сам мужской ум, неважна для неё была их одежда, обувь, их мужские ароматы. Почти не источая собственных запахов, естественных и привлекаемых извне, не

сталкивающаяся, как правило, в скудно ведомой жизни с условиями, когда здоровые женские железы наряду с обильными феромонами выделяют к тому же обильный и вкусный пот, в эту сторону вещей Дюка Лунио смотрела чаще глазами ребёнка, малого неуча, ограждённого от наполненного людскими запахами мира отсутствием собственного маломальского опыта...

Школа, которую Маша окончила в семнадцать, располагалась в значительном отдалении от дома, где проживали Лунио, и числилась уже за другим образовательным райотделом. Так что приходилось добираться на автобусе в оба конца. На этом настояла сама Дюка, хотя отец был против. Гирша понять было можно – девочка, вечный ребёнок, одна, почти через весь город, безо всякого пригляда, да ещё с этим опасным для нахождения в толпе диагнозом. Ну, в зимние месяцы, допустим, не очень ещё разберёшь, особенно если укутать ребёнка в тёплое и большеразмерное, то можно и не привлечь чужого недоброго внимания: девочка себе и девочка, только с портфелем. Осенью же и особенно весной, когда начиналось устойчивое тепло, когда наступал длинный день и поскорей хотелось скинуть с себя зимнюю обувь, – вот тогда безусловно побаивался. Опасался. Думал, засекут парни с того района, гадкие, злющие, бесстыдные, догадаются, что калека, карлица, инвалид, и станут издеваться. Хорошо, если только дразнить начнут или портфель разорят – чего бы страшней не получилось. Тут-то, у себя, многие знают хотя бы, чья дочка и каких им за это обломится, если что. А там, поди разберись потом, когда поздно будет уже разбираться. Изувечат, наиздеваются, ищи после этого свищи, как кого у них звали и кто зачинщик был.

Однако Дюка встала намертво, проявив несвойственную ей недетскую твёрдость. Так и ездила на том автобусе вплоть до последнего года своего ученья. И подружек в тамошней школе не приобрела, не говоря уж про пацанов. Гордая. Сама не напрашивалась, а те и другие тоже не липли, за убогую держали, недоделанную. Но они, в любом случае, были чужие, хотя бы по территориальному понятию, по законам общего двора. А она – пришлой, что было вне привычных правил подростковой жизни. Дружба, берущая своё начало с детских и школьных лет, первоначально возникает, исходя, как правило, из обоюдно соседского расположения. Нормальных с нормальными. А не с «этими».

А училась играючи. Голова, как губка, впитывала всё и ничего после из себя не выпускала. Причём без особых усилий. Видно, та сила, которая отвечает в человеческом организме за рост, за ненадобность переключила себя на память, голову и ум. И оттого необходимости сидеть над домашними заданиями у Дюки практически не было. Школьные знания сами собой угнездились в нужных участках её маленькой, способной, но остановившейся в росте головы и не беспокоили Дюку своим присутствием. Нужно было – включался надлежащий раздатчик и по запросу извне выдавал необходимую порцию. Или наоборот, забирал. Учителя – любили и жалели, одноклассники – тихо ненавидели и презирали. Самые терпеливые проявляли равнодушие, просто не замечая. А чего с другого края города ездит сюда к нам эта дефективная, да ещё с такой идиотской фамилией.

Именно по этой причине так упиралась маленькая Дюка против своего района, не желая лишней раз светить изъяны на людях, которых знала и которые знали её. Быстро в подъезд прошмыгнёт, и нет её в роде. Ни для кого. Кроме папы.

Но это началось не сразу, годам к пятнадцати, когда относительно несовпадения роста Дюкиного и её лица ошибиться стало уже почти невозможно. Всякий мог видеть, что с девочкой что-то не так. А значит, самое оно – уколоть да насмеяться. Так что в основном выходы из квартиры ограничивались, кроме школы, выносом мусора до люка между этажами и каникулярными отбываниями на их небольшую летнюю дачку, чей забор из плотно пригнанного штакетника так же, как и квартирные стены, надёжно ограждал девочку от нежелательных посторонних глаз.

Пробовала с музыкой одно время подружиться. Потому что в принципе любила слушать её по радио и думала, что сможет научиться воспроизводить волшебные звуки и сама. Все

основания к этому и на самом деле просматривались. Гирш порадовался такому дочкиному намерению и предпринял нужные шаги. Имелись в виду занятия этим делом дома, разумеется, с приходящим преподавателем. Ни о каких музыкальных школах, кружках и домкультуровских музыкальных детских группах речь идти не могла всё по той же причине.

Вскоре выяснилась малоприятная подробность: там у неё вскоре не хватит длины пальцев, тут, как ни старайся, не хватит объёма лёгких, а здесь, как ни трудись, вес инструмента не позволит полноценно извлечь звук. Можно, конечно, умерить амбиции и урезать требования, но потери на таком поле будут и явные. В этом педагоги, каждый по своему инструменту, честно признались Дюкиному отцу, но тот, решив не делиться неприятными известиями с девочкой, не стал отказываться от привлекательного нового дела. Подумал, может, займёт себя хотя бы до поры, пока само не подыщется что-нибудь подходящее.

Только девочка оказалась сообразительней, чем он предполагал. Нутром почуяла отцовское лукавство и очень попросила его сказать правду. Гирш вздохнул, развёл руками и выложил всё как есть. Любил её ужасно, очень переживал. Дюка послушала, подумала и отказалась продолжить дальнейшие попытки на льготных условиях пристроить себя к этой разновидности жизни. К тому же со временем, даже если бы дело у неё и пошло, всё равно пришлось бы мириться пускай с редким, но существованием на публике. Решительный отказ от него вскоре окончательно сделался Дюкиным непреложным принципом, который она никогда более не намеревалась подменять даже вполне приемлемым компромиссом.

Оставалось найти что-то своё. Занятие, которое могло бы сделаться любимым и серьёзным, каковое способно было бы зацепить и потащить за собой карлицу Лунио, чтобы достичь радость от этого труда и испытать попутный восторг. И чтобы, по возможности, увлечение это стало хлебным. Так и не иначе. Всё или ничего. И никаких отцовских мягкотелых посулов на потом. Инвалидская мизерная пенсия – позор государства и её личный позор. Да и иждивенчеству – такое же категорически твёрдое нет.

Это когда она уже десятилетку окончила, с отличием, именно в тот год её этим самым поиском, как обустроить жизнь, стало занозить. И надо сказать, нашлось оно, дело это. То самое. Внутри домашних стен. Забористое донельзя. И хлебное, как и хотела. С лёгкой руки Гирша Лунио.

Вытянул из задника гардероба прабабушкино кольцо, то, что прадед наш Наум по линии Гиршбаум к свадьбе своей поздней изготовил, для любимой невесты. Мутно-жёлтое церковное золото на эллиптической основе своей держит бриллиант с три карата, голландец, примовой, чистейший. Снизу и по бокам камень обвязан белым золотом, в виде затейливых гирляндочек, тончайше выделанных, как нерукотворных, хоть с лупой изучай. Чуть выше – поясок серебра с вкраплением изумрудных камешков, в обработке, просыпанных в промежутках алмазной крошкой. И из всего этого великолепия уходит вверх ажурная и тоже белого золота пирамидка, окончательно крепящая бриллиант по центру изделия. Восторг сплошной и только!

– Тогда ещё так не делали, – объяснил Гирш Дюке. – А он уже делал, дед твой. Художник был в своём деле, законодатель моды ювелирной. Пол-Ленинграда его знало. И дамы питерские, из бывших, и тётки разные, с деньгами, из новых советских, и девушки молодые, небогатые, кто узнал от кого по случайности, – все в очередь к нему писались, чтобы только заказ пристроить. Предложения делали разнообразные, всякие про всякое. А он никогда не поддавался, работать – работал, как умалишённый, но всю жизнь единственную свою дождался, бабку твою. И дождался, нашёл. Когда уже совсем немолодой был. Правда, и потерял вскоре, не довелось долго порадоваться. Но меня зато они родить успели. Так-то...

И протянул ей:

– Твоё оно теперь, дочка. С окончанием тебя десятилетки с отличием!

Дюка в руку кольцо это взяла и обмерла. Оно! Это было то самое, что искалось и нашлось. Но не сразу сообразила, чуть позже. Поначалу как во сне, продела пальчик свой махонький,

тоненький внутрь чуда этого и утонула в размере. Болтанула вокруг оси, так что закружилось изделие вокруг указательного пальца, самого толстого. Так и смотрела, не отрывая глаз, как крутится оно, брызгая радужными искрами вокруг себя – так что зрачкам больно было терпеть. Гирш понаблюдал за каруселью этой и утешил:

– Это ничего, Машунь, ничего. Мы это легко с тобой исправим. Тут просто нормальный ювелир понадобится, опытный. Уменьшим размер на сколько надо, и все дела. И радуйся себе тогда бабушкиному наследству, доченька.

– Нет, папа, – всё ещё следя за тем, как играет свет от камня, возразила Дюка, – не нужен никакой ювелир, я всё сделаю сама. Научусь всему и сделаю, обещаю тебе.

Свет от бабушкиного камня напоминал другой, очень знакомый и похожий на этот. На следующий день поняла – так светились глаза у большого мужчины, который был в её в спальне, перед самым утром, два года тому назад. Того самого, что поначалу чуть-чуть её напугал, но по-настоящему она так и не успела испугаться, потому что он исчез слишком быстро и было даже жаль. Больше он не возвращался. Другие всякие были, но не тот. И свет больше не возникал, лучистый, с радужной искоркой.

Машина мысль заняться ювелиркой пришла Гиршу по душе просто ужасно. Настолько, что он даже решил принять личное участие в осуществлении такого её замысла. Заодно удивился, почему подобная идея, лежащая на самой верхушке мозгов, не пришла ему в голову раньше. Казалось, сама напрашивалась. Тем более если учесть, что её дед был отменный ювелир и само ремесло его, как и другие художественные умения, не могли и не должны были пропасть за так. Возможно, просто пришла пора и вызрела кровь, подтолкнувшая Марию к этому наследному делу.

Нередко Гирш ловил себя на том, что думает о Маше как о собственной родной дочери, повязанной с ним не только судьбой, но ещё и общей кровью. Тот факт, что дочь его – приёмная и вдобавок к тому карликового размера, думать так, а не иначе ему не мешал. Порой он просто вообще забывал об этом её удивительном свойстве – быть маленьким, но абсолютно нормальным и самостоятельным в его глазах человечком. И не просто нормальным, а ещё и на удивление красивым, в самом прямом смысле слова. Ему нравилось наблюдать за тем, как дочка перемещает своё маленькое, пронырливое тельце по их большой квартире, ловко преодолевая взрослые преграды в виде предметов мебели, сделанных для больших, таких как сам он, людей. Как по утрам чистит зубы, на цыпочках, максимально вытягивая вверх своё миниатюрное тельце, едва доставая зубной щёткой до льющейся из крана водяной струи. Как умудряется умно и точно, невзирая на малость свою, реагировать на его замечания, чего бы те ни касались: собственной работы, её учёбы, полёта в космос первого человека планеты Земля, последних постановлений партии и правительства или завещаний дедушки Ленина, про которого она тоже в немалой степени была в курсе.

Так и шло. Отчаянно прикипев сердцем к девятилетнему ребёнку, хрупкой девочке, про которую в тот момент, когда она ему досталась, уже было достоверно известно, что ребёнок остановился в росте, он забывал порой, что такая остановка вовсе не означает тормоза в умственном развитии. И потому даже через годы жизни под одной крышей Гирш всё ещё не переставал изумляться её недетской зрелости, опережающей, как ему казалось, естественное созревание человека. А ещё искренне удивлялся тому, отчего же такое случается, что женщины, разные по возрасту и характеру, по повадкам своим, по глупости и по хитрости, незамужние, разведённые, бездетные и с детьми и при отсутствии всяких видов на мужика – все, которые время от времени попадали в поле предметного мужского интереса Григория Лунио, тут же под разными предложениями исчезали из его жизни безвозвратно, узнав, что он живёт с дочкой карлицей. Невзирая на всё его обаяние, исключительную мужскую щедрость и заманчивую жилплощадь.

## Глава 5

Ювелирные инструменты и причиндалы, все, какие были для этого серьёзного ремесла необходимы, дед Гирш достал самолично. Удивился ещё, что почти ничего, что нужно было, не забыл. Да и как было забыть, когда почти все свои первые мальчуковые годы провёл в отцовской ювелирной мастерской. До тех пор, пока само ремесло внезапно не оборвалось. В общем, что-то Гирш купил, что-то достал, а кое-что было у самого. Например, миниатюрная газовая горелка, чудная, дававшая плотную и горячую струю. И фреза, тоже маленькая, чекушечная, с размерными сменными дисками – также вполне могла сгодиться для ювелирного применения. Всё остальное было новым: щипчики в наборе, всякие зацепы, протяжки, подставки, упоры, крючки, ножички, зажимы, вытяжные барабаны, плоскогубчики, утконосы, надфили, мечики, молоточки, набор для пайки, увеличительная оптика, камера-печь для запечки эмалей, плавилка, струбины малые, на все случаи, шлифмашинка с насадками, сверлилка, вроде зубной бормашины. Ну и другое всякое. Плюс материалы на первое время: сами эмали, серебряный лом, камешки простые, пробные, какие денег не стоят, кислоты разные в колбах и пузырьках, клей специальный, свёрлышки и свёрла от и до...

Комнат было четыре. Четвёртую, не занятую никакой особенной надобностью, приспособили под Дюкину мастерскую, пока будущую. Хотя Гирш не сомневался, что дело у дочки пойдёт. И даже, возможно, лучше, чем пошло бы у других, в силу миниатюрности самих пальчиков и её женской аккуратности в серьёзных делах. И умная к тому же, а значит, способная развить в себе художественное воображение. Наум Евсеевич, прадед покойный, всегда говорил, по словам деда, что, мол, Божий дар любит упасть на дурака, а лучше б падал на умного – отдачи больше неизмеримо. Дурак не всякий им воспользуется, а запас даров не бесконечен.

Дюка стала самоучкой. Как первый раз забралась в новоиспечённую мастерскую, так и зависла там на сутки. Об ученье на стороне даже слышать не хотела, до всего решила добираться сама. Что про отцовское дело сумел запомнить, тем Гирш, конечно, помогал. Советы его оказались бесполезными. Медленно, по кусочку, удавалось-таки вытаскивать из памяти то, что когда-то делалось на его глазах с металлом, камнем, эмалью. То тут пальцем укажет в правильном направлении, то там подскажет, как прадед в таких случаях поступал. Или же сам вдруг инструмент из рук её примет, задумается на миг и прижмёт, как вспомнилось. Или, наоборот, разожмёт, как не забылось.

Книжка, кстати, нашлась позабытая, дореволюционного издания, по металлам разным и работе с ними, очень подходящая. Ему её вернули новые хозяева их квартиры, ленинградской, той, что располагалась рядом с драмтеатром. Он приехал туда, на Фонтанку, не досидев полный срок. Знал уже, сообщили ему, что прописки нет и не будет больше во второй союзной столице, и жилья там для него нет давно, выписан и выселен.

А вручил тот, кто вселился, и не только книжку, а всё оставшееся имущество, что по случайности не было выброшено после старых жильцов, пылясь в кладовке, в коробке из-под ботинок. Там и лежала книга эта, в числе других случайных, не пригодившихся новым жильцам предметов от забытой довоенной жизни. Например, мельхиоровый подстаканник, оставшийся после старого Наума, его любимый, где казак с задранной над головой шашкой рельефно выдавлен по мельхиору. А ещё и другая книга оказалась там же, маленькая по размеру, дорожная, тоже старого издания. Библия в картинках, для маленьких. Наверное, прабабка наша загодя приготовила деда образовывать, да не успела. И старые бумаги разные, блокноты. Гирш глянул – имена папиных заказчиков в разные времена, адреса и прочее всякое. Но об этом позже.

Дюка вцепилась в неё, в ту, которая металлическая, стала страницы нюхать, трогать, листать, вчитываться, шевеля губочками своими, и тут же прочитанное пробовать на деле осу-

ществовать. Вот после этого и пошло, и пошло дело мамино налаживаться и создаваться, через случай, через подарок отцовский, через наследство прабабушкино, через ум её, вкус прирождённый и удачу.

Ко дню появления в доме Лунио Ивана Гандрабуры Гирш уже имел все основания гордиться девочкой и считать, что дочь его Мария смело может называться профессиональным ювелиром крепкого класса, со своим неповторимым лицом, любопытным стилем и узнаваемой манерой изготовления ювелирных поделок. Уж кому-кому, а ему было с чем сравнить. Насмотрелся всяких ювелирных работ за годы подле старого Наума.

Но тут было другое, совсем не такое. В ювелирном искусстве Дюка пошла гораздо дальше, чем мог ожидать отец. Не остановилась на традиции, решила уйти в сторону, развить найденную красоту в неожиданном ракурсе восприятия. Стала экспериментировать. Недрагоценные сплавы, круглые и цилиндрические кораллы, любимые ею бирюза и сердолик. Серебряные оплывы, застывшие в красоте единственной своей формы, с вкраплением бусинок чёрного жемчуга. Они же – кольцо, если добавить почти невидной тонкости пушенную вокруг пальца раздавленную серебряную нить. Они же – серьги, если деликатно вставить неприметный крепёж. Они же – браслет, если соединить их змеевидной плющеной лентой чёрного серебра, вольно опоясывающей запястье. И даже особым образом выделанная кожа в сочетании с твёрдыми сортами специально обработанного подморенного дерева – всё это было отныне в её рабочем активе.

Заказчики, поначалу немногочисленные, удивлялись, но потихоньку привыкли и стали вещи эти брать. Дальше – больше, покатила тихая молва, постепенно перерастающая в слухи средней силы про занятные карлицины рукодельные штуковины непривычной красоты, которые можно заказать у неё, не платя недоступной цены. И потянулся областной народ, кто покультурней, кто мог искренне прицокнуть языком и подивиться по-настоящему.

Надо сказать, что заказчиков, в прямом смысле слова, у Дюки не было. Были покупатели. Заказы она не брала, принципиально, не желая загонять себя в чужую волю. Это мешало бы творить, придумывать новые вольные ходы или использовать те, которые уже грели её маленькую душу. За деньгами не гналась, хотя трудиться бесплатно тоже считала неправильным. Оценивала сам материал и реальное время, потраченное на ту или иную работу. Уникальность придумки, оригинальность подхода, композиционная смелость, необычность сочетания одного с другим – всё это оставалось неоплаченным теми, кто выбирал, платил по прейскуранту и потом просто исчезал. Считала, что добавлять к основной цене деньги ещё и за саму мысль, за Божий дар, за то, что взялось ниоткуда, а просто свалилось с небес, – аморально. И это было очень личным, своим, тем, что не уходило из дома вместе с изделием, а оставалось с ней, с автором, с создателем этой красоты, обогатив её радостью от найденного решения, да ещё к тому же одарив опытом на будущее.

Отец в эти дела не влезал, в денежные. Нужды в семье не было никакой. Запас средств, тот самый, образовавшийся с ещё далёких времён, был пока не исчерпан, и потому его вполне устраивало текущее состояние её профессиональных дел. Некоторым образом, правда, тревожила безопасность его девочки, выводя порой из равновесия, – всё же, как ни посмотри, остаётся один на один со своими покупателями, когда сам он на службе. Как бы, думалось ему, не обидели дочь, узнав о таком её беспомощном положении. Народ-то разный, от нормального до беспричинно зверского. А маленький беззащитный человечек всегда наживка для урода.

@bt-min = Вот тогда он и стал думать про защитника, всё чаще и чаще. Пока не придумался Иван этот, мудаковатый Гандрабура, единственный подходящий кандидат для не оформленного законом родства.

@bt-min = А мужика себе Машка хотела, он это точно про неё знал, хотя ни разу вопрос этот между ними не затрагивался. Откровенно говоря, было просто совестно сесть и поговорить с дочкой про её желания, не связанные с её трудом. И потом. О чём речь, о каком мужике?

О маленьком? Таким, как сама, только кривом и уродливым? О карлике-носе? Взять и удвоить единичное природное безобразие? Это было совершенно для неё невозможно – тоже знал и тоже точно. Тогда что – нормальный, как у всех? А где взять? Где они вообще берутся, нормальные для ненормальных, в каких бедуинских пустынях водятся? А Машенька моя, ещё сколько-то времени пройдёт, глядишь, на стену полезет. Она ведь чувств совсем не лишена женских, она же, как все бабы, думает про это, картинки себе рисует, мечтает. Наверное, сны видит и в подушку слёзы льёт по утрам. Господи, простые вещи, казалось бы, а как же всё сложно!

@bt-min = В какие-то дни, когда работа особенно шла и вещь явно получалась по задумке, Дюка просто изводила себя, трудясь до изнеможения. Спала мало и почти ничего не ела. Не лезло в рот. Отвлекалась только, чтобы выпить чаю из тонкостенного стакана в прадедовом казачьем подстаканнике или высунуть голову из мастерской, чтобы приветливым кивком встретить вернувшегося с работы отца. Гирш понимал и не лез к дочери с пустым. Сам ужинал, не спрашивая, присоединится она или нет. Потом, стараясь не греметь, перемывал посуду и шёл читать вечернюю газету. Про Машу, по тому, как кивнула, каждый раз знал безошибочно – просто в работе дочь сейчас или же снова в очередном созидательном улёте.

Летом виделись реже. Каждый май собирали всю её кухню, штучки-дрючки-материал, он брал у себя на упаковочной служебную машину и перевозил Дюку на дачу, в Жижино, на участок загородной земли с рубленным домиком шесть на шесть плюс крохотная остеклённая верандочка, очень кстати приготившаяся под летнюю мастерскую. Там он запускал летний газ, баллонный, откручивал воду, тоже летнюю, и натаскивал из источника питьевой воды, так чтобы дочери её хватило на рабочую неделю. Потом уже приезжал на выходные и отбывал на службу с первой электричкой, по понедельникам.

Домик этот жижинский, маленький и неброский, в ведомственном садовом товариществе от городской упаковочной фабрики новоприбывший Григорий Наумович Лунио приобрёл в первые же дни после того, как прибыл на постоянное место жительства в этот областной город, расположенный к востоку от европейского центра, состоявший в перечне разрешённых к проживанию и прописке для таких, как он, Гирш, – тех, кто искал места для обустройства дальнейшей жизни после отбытия срока по нехорошей статье.

Участок побогаче купить не решился, хотя тоже был вариант. Подумал, вызовет подозрения, а оно для него, в его и так нетвёрдой ситуации было определённно излишним. Тем более просто так, по тихой, купить всё равно не удалось бы, нужно было сначала профильтроваться через решение общего собрания садоводов-огородников этих и всё такое. Они сами только получили в прошлом году, ещё строятся многие. А тут бывший зэк, только-только трудоустроенный к тому же. С чёрт знает какой странной несоветской фамилией. И сразу готовенькое – хватать, из возведённых. К тому ж молодой, до тридцатника наверное, ещё. Да с финансом. Нормально это?

А с квартирой в городе вопрос потом решал сам уже, предпринимая разумные и последовательные шаги, которые в итоге и привели его на нынешнюю генеральскую жилплощадь.

В жижинском, готовом для проживания домике, первое время он и обитал, пока думал про грядущий сентябрь, так как соглашение с Маркеловым ещё не вступило в полную силу. Тот дал ему времени три месяца, до начала школьного сезона, по прошествии которых Гирш становится фактическим отцом девочки, Юлькиной дочки. Но не буду забегать вперёд, это потом.

Туда, в Жижино, за редким исключением, покупатель уже не доезжал, ждал конца сезона. Покупка чего-нибудь эдакого, интересненького у ювелирши Марии Лунио не являлась предметом такой уж срочной нужды: на свадьбу такое не наденешь ни жениху, ни невесте. На похороны – тем паче. Разве – в гости или, на крайний случай, в областной драмтеатр вдруг придётся выбраться и нацепить заодно к вечернему выходному виду. На деле о театре, единственном в

городе, если не считать ещё один, народный, мало кто из приобретателей красоты вспоминал как о сущностном факте жизни. Но в высокой теории, применительно к костюмной стороне бытия, такое воспоминание вполне могло и всплыть в известные минуты. Хотя какие летом могут быть спектакли? И какие гости, когда самая пора огородом заниматься да садом, сажать, поливать, урожай снимать, банки крутить. Жить-то надо, не все ж, как эти Лунио, в жизни умеют устроиться: ладят там себе, понимаешь, из ничего колечки разные да кожаные нагрудники с цветными камнями, в квартире своей безразмерной, генеральской, и живут к тому ж безбедно, хоть и карлики-калеки. На всю область один вроде генерал и был когда-то, да и тот не сразу на площадь эту въехал в своё время. А тут этот, с упаковочной фабрики, Лунио, живёт себе в ней с коротышкой своей и в ус не дует, аж пиджак от сладкой такой житухи заворачивается, как будто так и надо.

Но в Жижино оставлять дочку одну он стал только начиная с её совершеннолетнего возраста, совпавшего, как было сказано, с началом её трудовой домашней деятельности. Раньше не отпускал от себя ни на шаг. Вместе уехали, вместе вернулись. Даже летом. Получалось – вечно при ней. До определённой поры, как раз до окончания школы. Бабы же, все кого хотел, из наружной жизни, в это время, получалось, пролетали мимо его желаний. Не мог позволить отвлечь себя от Машки.

А с более или менее зрелой её поры стало можно, Гирш это сам почувствовал. Перестало изъедать середину и обкусывать внутренность. Летом у него случались романы. Он вообще нравился женщинам. Ростом не выше среднего, зато крепкий, упруго сбитый телом, всё ещё темноволосый, с едва заметными вкраплениями седины по краям небольшой аккуратной бородки вокруг рта и по вискам, несмотря на то что блокадник, лагерник, фронтовик. Тонкогубый, в маму, с карими глазами, отцовскими, не отличишь, и с его же прямым, абсолютно нееврейским ширококрылым носом, окружённым пробивающейся наружу растительностью, тщательно выбриваемой с утра и слабо-теньевыми следами доходящей почти до глаз. Плюс спокойный взгляд. Очень спокойный, в Наума. Няма, брат, когда глаза его оформились окончательно и зрение перевернулось с головы на ноги, именно таким спокойным взглядом изучающее посмотрел на деда, когда его, крохотуленького, впервые поднесли Гиршу под нос, на родственный показ. Ещё задолго до родов, как только стало известно про двойню, Гирш попросил Дюку, чтобы имя младшего по рождению внука было Наум. Няма. В честь прадеда, Наума Гиршбаума. Таким домашним именем в детстве любовно звали Наума Евсеевича его родные. И так дразнили мальчики в их белорусском местечке. Не Нёма, как привычней, а именно так, Няма. Дюка засмеялась и сказала:

– Поздно, пап, я уже сама его так назвала. – И вытянула вперёд руку, демонстрируя бабушкино кольцо. – Но готова считать, что это твоя идея, двойная. Петька и Няма Лунио – мне нравится.

Но, несмотря на свои романы, удачей, которая согрела бы кровь и вызвала ощущение заслуженной находки, он похвастаться не мог. Бабы были в основном фабричные, свои, упаковочные. На связь с начальником охраны охотно шли все, за малым исключением, но он предпочитал отбирать среди незамужних. Цель преследовал двоякую: получить необходимое мужское удовольствие и найти Машке новую маму.

С удовольствиями, как правило, складывалось. Да и сам доставить умел, это было в нём природное, хотя и поучиться любовной науке, что щедро давалось другим, ему в своё время не довелось. Особенно понятно такое, если выбросить на пальцах короткие этапы судьбы, начиная с ленинградского июня сорок первого и до завершения Дюкой ненавистной десятилетки в этом чужом для них городе.

Стоит ли повторяться, упоминая лишний раз Дюку как причину, разъединявшую Гирша с работницами фабрики, какие согласно шли знакомиться и отдаваться. Странное дело – никто из них не захотел впускать карлицу в свою жизнь. А собственную – подлаживать под её.

Отлично понимали, что никогда и никаким ураганом не выветрит после эту лилипутку из их будущего дома. До конца жизни придётся, живя под одной крышей, нянчиться с обиженной богом уродкой, стесняться знакомых, избегать ненужных вопросов, скрывать нелюбовь к безобразности и всякий раз прятать глаза. А перевес всё равно всегда будет на той, карличьей, стороне, потому что взрослая уже по голове, хоть и маленькая телом. И слова ни скажи потом без одобрения её или запрета. Все они такие, карлики-кровопийцы, злые, обиженные жизнью. А сам-то вон как обожает её, всем известно на упаковочной, ковром персидским расстилается, чего та ни захоти.

И ещё одно, важное. А если свои дети получатся? И чего? Кто кому кто? Кто им эта маленькая тогда? Родня единокровная? Великовозрастная сводная сестрица и посмертная хозяйка жилплощади? Да разве ж с такой кровью и такой перспективой можно в семейное единство входить, чтобы потом говорить про это с людьми?

Именно в этом, за годы взаимных попыток сойтись в общую жизнь, уверило себя абсолютное большинство девок и тёток, сблизившихся с Григорием Наумовичем: накоротко, одно-разово или на подольше. Видеть в глаза саму Дюку никто из них не видал, но все про это дело, как сговорившись, понимали одинаково. Хотя меж собой тему не перетирали, ни до, ни после. Каждая, как умела, скрывала факт близости с Гиршем, хотя сам он об этом не просил. Только ведь не дуры ж. Однако дурковатая стыдливость брала верх над извечной трепливостью, и, как ни странно, у многих получалось держать сомкнутым рот про свои пробные забеги в любовь с Гиршем Лунио.

А незадолго до того, как заговорил с дочкой про Ивана, за пару месяцев, снова летних, нашёл одну. Из новеньких, молодая. Как Дюка почти, чуть постарше, до тридцати, приезжая, технолог. Подкатил без особой надежды. Скорей пошутил просто, на тему дружбы и любви. Ну очень понравилась, хотя и избыточно полненькой была. Поначалу к шутке свёл всего лишь, большее предложить язык не повернулся. А та среагировала очень даже конкретно, проигнорировав игривый тон начальника охраны. И приглашение его на кофе-чай приняла без никаких, на полном серьёзе. Гирш даже три цветка купил и в вазу поставил, чего никогда раньше не делал. Никто про цветы не заикался, не принято в городе было такое. И на упаковочной тоже, кроме женского дня.

Главное, она сама с цветком пришла к месту встречи, сказала, это для вашего дома, и протянула. Так они и пришли к нему домой, под руку и с её цветком.

Потом, беседуя, немного выпивали, шипучего вина, цимлянского, затем чай был с тортом, от которого та не отказалась, хотя, как сама объяснила, приходится сразу на трёх диетах сидеть, двумя не наедается.

И уже к тому дело шло, к главному. Хотя оба чувствовали, что первостепенным быть для них должно совсем другое. Так уж всё с самого начала складываться стало, само всё, как по нотам. Он аж дрожал весь, Гирш, давно подобного не чувствовал, что такое попадание может случиться. И что сама будет умной, весёлой, с чертовинкой в глазу и без фанаберии всякой. Своей, в общем.

Пошли по квартире географию изучать домашнюю. И забрели к Дюке, к остаткам мастерской, на время переехавшей в Жижино. Но кое-что осталось, Дюка не всё увозила обычно, часть приспособлений, не первой надобности, дожидалась хозяйки в городе. Ну и выяснилось про неё – ответ за вопросом. Но пока не целиком.

– Так, получается, вы отец, Григорий Наумович? Взрослой дочери? – спросила она.

Прежде чем ответить, он коротко пораздумал, куда же лучше вывести ответ свой, на какую линию, поражения или атаки? И решил, что лучше сразу оглушить, чтобы не терять взятый темп и использовать достигнутое к этому часу благорасположение госты к нему и к его дому.

– Она у меня с небольшим изъясном, – произнёс он, следя за тем, как та отреагирует с самого начала. – Гипофизарный нанизм. Слыхали?

– Нет, Григорий, не слыхала. Это что, болезнь такая или просто неудобство какое-то для жизни?

Он решил, что лучше сказать всё как есть, и закрыть тему совсем. А там как пойдёт оно само.

– Этот термин означает, что моя дочь – карлица. И что она имеет 90 сантиметров в росте. И ей двадцать шесть лет. Но неудобств, поверьте, нет никаких. Она большая умница и великолепный ювелир. Вполне самостоятельная девушка.

Технолог невольно вздрогнула и отшатнулась чуть в сторону. Задумчиво так покачала головой и спросила:

– А где же её мама? Почему дочь с вами, а не с ней?

Гирш пожал плечами:

– Мама от неё отказалась.

– Мама отказалась, а вы нет. Я правильно поняла? – с сомнением в глазах уточнила она.

Гирш вздохнул и развёл руками. Гостья на глазах теряла привлекательность, сделавшись некрасивой и неумной. Так показалось Лунио. И ему уже стало не так важно, куда повернётся разговор про его Дюку.

– А я нет. А вообще Маша мне приёмная дочь, не родная.

Та взялась за голову и повела ею слева направо и обратно.

– Значит, если я правильно вас поняла, вы женились на женщине с карлицей-дочкой, которую она потом бросила, а вы оставили себе? Всё правильно?

Он кивнул:

– Правильно. Ну почти правильно. Только не совсем. Долго объяснять. Есть обстоятельства. Мне бы не хотелось сейчас, извините.

Технолог обречённо покачала головой, и Гирш понял, что это конец их началу. «Надо было сначала в постель, а потом уж мастерскую светить... – подумалось ему в тот момент. – По крайней мере, наказал бы её за то, что она сейчас мне скажет...»

И угадал. Она и сказала, уже по пути в прихожую:

– Вы меня извините, Григорий, но так мог поступить только клинический идиот. И мне жаль, что у нас так с вами получилось. Верней, что не получилось. Жаль, что вы другой, не тот, к которому я шла в гости. И не надо было мне лгать, что вы живёте один. Вместо того чтоб гоголем по фабрике ходить и девушек с толку сбивать, лучше бы сразу про дочку свою сказали инвалидную, чтобы время на пустые походы в гости не терять.

– Я вообще-то говорил, что живу сейчас один, потому что лето... – попытался вставить Григорий Наумович, но его последняя фраза, так и не услышанная, осталась одиноко висеть в коридоре, перед дверью в квартиру Лунио, захлопнутой с другой стороны. Но Гирш всё-таки договорил, не вникая, для чего он это делает и кто услышит его слова. – Она живая... – произнёс он в пустоту, – она такая же, как мы, только лучше. И вам никогда не понять, что маленький человек заслуживает любви больше, чем все мы вместе взятые. Потому что они люди без надежды, они вечные изгои, они знают про себя, что никогда не вырастут и никогда не станут нами. Они могут только смотреть на нас снизу вверх и придумывать себе другую жизнь. И они умеют страдать, как всем вам и не снилось. А вы все не хотите этого понять. Вы недобрые и тупые идиоты. Вы, а не мы. И катитесь куда подальше, не приходите больше к нам с Дюкой...

С того дня Григорий Наумович прекратил свои фривольные опыты общения с женским контингентом упаковочной фабрики, отказавшись от дальнейших поисков подруги жизни у себя на службе. Да и не было уже в том прежней нужды. Дюка выросла – если такое выражение позволительно применить по отношению к ней – и стала полноценной и самостоятельной

человеческой единицей. Любая посторонняя мама перестала быть необходимой дому Лунио вообще. А разовые личные удовольствия, коли уж так, пусть отойдут теперь на второй план. И если отбросить всё плохое, то всё остальное, в общем, было хорошим. Нормальным.

И вот здесь я продолжу рассказ нашего деда, который недавно прервал. С того самого места, помните?

## Глава 6

«Папу мы похоронили девятого, положили рядом с мамой, и я бросил туда землю, к нему, в яму. А через неделю мне позвонили из нашего райсполкома и сказали, что нужно решать с опекуном, поинтересовались, кто у меня остался из родных. Я ответил, никого нет. В трубке женщина сказала, что они будут принимать решение по мне на заседании комиссии исполкома, которое у них состоится двадцать третьего июня. И чтобы я был готов к тому, что опекун мне будет назначен комиссией. До момента совершеннолетия. Я ей сказал, что ладно, что я понял.

А двадцать второго по радио объявили войну. Ту, что папин заказчик обещал, с Гитлером. Как сейчас помню, не Сталин обращение к нам ко всем всем делал, а диктор Левитан. Или Молотов, не помню. Сталин только потом уже по радио сказал, что мы победим, братья и сёстры. А у самого, слышно было через репродуктор, как зубы о стакан с водой стучат. Правду папа говорил, что он негодяй и убийца. И трус ещё. А Ленин хотя и умер, но идеи его остались – так мой папа тоже говорил. И так я на всю жизнь запомнил.

А летом на наш город двинулась полумиллионная группа армий «Север». В июле они взяли Псков и уже в августе заняли станцию Чудово и перерезали железную дорогу. А в начале сентября захватили Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. С этого дня началась блокада, которая продлилась 871 день. Но папа об этом уже никогда не узнал.

В том же сентябре, когда уже стали бомбить постоянно и обстреливать, и всё горело в пожарах, и было в клубах чёрного дыма, многие хотели выехать, но все пути уже были отрезаны. От этой бомбёжки сгорели Бадаевские склады продовольствия, и это стало началом голода. Все начали готовиться к осаде: я помню, как люди бросились забирать деньги из сберкасс. Вытащили всё, что сумели, буквально за несколько часов. Тут же у всех магазинов выстроились очереди, огромные. Сметали всё подряд, то же самое, что мы с папой запасли: муку в основном, мыло, соль... Хотя и говорили, тоже хорошо запомнилось, что никакой осады не будет, но никто не верил. Не верить теперь было куда надёжнее, чем верить. И тащили в дом по старой привычке. А мне было не нужно. Я просто дошёл до ближайшей булочной, встал в конец огромной очереди и выстоял её до конца, потому что решил, что всё-таки надо набрать побольше хлеба, чтобы был запас сухарей. Мука-мукой, но из неё нужно ещё хлеб этот как-то соорудить. А я не умел. И блинчики тоже папа сам всегда делал, а я не знал, что он там смешивает и как. Просто было очень вкусно, со сметаной и с мёдом, а как они получаются, об этом я никогда не думал.

Хлеб мне купить удалось, но это стало моей последней покупкой. Что сделал для меня папа, я понял не в те дни, а уже гораздо позднее. А то, что люди успели прикупить, последнего своего, всё равно стало для них потом каплей в море. Никто же и думать не мог, что совсем скоро придётся есть лепёшки из горчицы, смешанной с мучной пылью, которая раньше шла на обойный клей.

С первых дней сентября в городе ввели продовольственные карточки. Столовые, рестораны – всё закрылось. Мне тоже дали, через жилконтору получил, на себя одного, папа там уже у них в живых не числился, успели вычеркнуть. А с октября люди стали получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, кто работал, а все остальные – по 200. Потом, в ноябре, кажется, уменьшили и это, стали давать по 300 и по 150. А в конце месяца – уже совсем кошмарный паек: 250 и 125 граммов.

Я тоже ходил, брал. Мог бы обойтись, хлеб был почти несъедобный, перемешан с чем-то немучным, типа отрубей или жмыха какого-то, или мякины, и непечённый. Я его кашами заменял разными, варил их себе по очереди, чтобы не надоела одна и та же. Гречневую, например, я люблю меньше пшённой, потому что её нельзя есть с мёдом. А пшённую можно. Но зато пшённая хуже идёт с подсолнечным маслом. Вонюче получается. А гречка часть этого

запаха впитывает и тогда нормально выходит. Не отбивает вкус сухой колбасы, которой можно кашу закусывать, вдогонку. А сверху каши я делал себе омлет из яичного порошка, жарил на топлёном масле, оно долго стоит и не портится. Не такой вкусный получался, как если из настоящих яиц делать, но потом я привык и даже понравилось. Нужно было просто сильно его взбить, до высокой пены. И плеснуть разведённого сухого молочка, не забыв чуть-чуть присолить. Чёрный перец тоже у нас был, то есть у меня, в запасе. Странное дело, я его раньше, до войны, никогда себе не сыпал, хотя папа клал его повсюду, в любое своё блюдо, что меня ужасно удивляло – он же едкий на язык и колючий. А сейчас полюбил. Понял его, как папа. И с ним вроде теплей как-то становилось в теле, не так быстро холод пробирал. Топить уже не топили, всё было отключено, все коммуникации – приходилось буржуйку использовать. Я её на банку горохового концентрата выменял у нашего дворника, старика. Сказал, сохранилась с довоенных ещё времен, кушайте, дядя Антип. А вечером бросил ему в полуподвал, через решётку, пачку муки, две рыбные консервы, одну тушёнку и кило сахара. Я его всё равно не ел, предпочитал мёдом чай заедать. Ещё хотел папирос ему добавить, потому что Антип наш всегда, сколько я его помнил, дымил беспрестанно, не вынимая курева изо рта. Но не смог вспомнить, куда их заскладировал, папиросы эти. То ли в конец антресоли, то ли вместе с увязкой рисовых упаковок на самом верху кладовки. Короче, не стал искать, неохота было. А всё остальное сложил в аккуратный в куль и бросил ему туда, чтобы он подумал, будто кто-то прячет там у него своё, схороненное от других. А он, я решил, найдёт и сам съест.

А пайку я брал вместе со всеми, потому что не хотел, чтобы были подозрения в мой адрес: и так я совсем не изменился внешне. Не исхудал, как другие, не был бледным и слабым. А хлеб, что отоваривал через карточку, часто терял. Почти всегда. Специально и в таких местах, чтобы люди подобрали и съели. Так же с карточками часто поступал. Оставлял на подоконнике в соседней парадной, как будто забытые. В своей парадной опасался, чтобы не заметил кто, что нарочно так делаю.

Голод был уже просто жуткий. Народ, кто подogaдливей и у кого на это оставались силы, поехал по полям, по свалкам, всякие коренья собирали, листья от свёклы, от капусты. Ели часто прямо на месте, грязными. Помню, как в декабре, незадолго до Нового года, я стал свидетелем сцены, когда на улице у извозчика упала от истощения лошадь, а люди увидели и прибежали, кто с топором, кто с ножами, и начали резать эту лошадь на куски и таскать домой. Это было ужасно. Они чем-то даже напоминали палачей. Я понимаю, легко об этом говорить, когда лично мне, что такое настоящий голод, так и не удалось испытать.

А между тем в городе начали больше красть, людей просто стали убивать, чтобы завладеть их карточками. На хлебные фургоны налетали, на сами булочные, все перестали бояться всех. Потому что голод и сама жизнь оказались сильнее страха.

Ели всё подряд, без разбора. Сначала съели домашних животных, у кого были. Представляете? Рыдали в крик, а своих любимых питомцев убивали и съедали. А если бы пощадили, то самим бы пришлось умирать, раньше, чем умерли многие из них же. Отдирали обои, там на обратной стороне клейстер оставался, засохший. Его отскребали, отмачивали и поедали. Кто-то, кто умел это делать, – хотя сам я не видал, но знаю – грачей ловил и ел. А другие, кто не умел, охотились за уцелевшими кошками или собаками. Даже крыс съедали, если удавалось словить. Многие ещё из домашних аптечек, знаю, выбирали всё, что могло пойти в пищу: касторку там, вазелин разный, глицерин. А из столярного клея варили суп. И студень. Тоже чтобы есть.

Это я всё в основном по рассказам знаю, самому мне было незачем на улице появляться без нужды. И потом я работал ещё. Пошёл на Кировский, на наш – просто пришёл и сказал, чтобы мне, Григорию Гиршбауму, дали любую работу, которая относится к танкам. Там танки делали, которые сразу на фронт уходили, прямо из ворот. Соврал, что возраст имею больший, но документов нет, сгорели в пожаре. Но они и проверять не стали, и так было ясно, что смотрю на эти годы, потому что по сравнению с другими подростками, голодными и измучен-

ными, я выглядел гораздо крепче и здоровее. А чтобы не так в глаза бросалось, что не худущий, как все, и не измучен осадным положением, я немного припачкивал себе лицо мазутом или чем ещё было другим. Камуфляж наводил, и тогда и потом. Меня в то время, помню, звали ещё, Гришка-мазутчик. Но не обидно звали, по-доброму, я ведь работал не меньше взрослого и не хуже, столько же успевал наворочать или даже больше. Оттого что был сытый. Только никто про это не мог знать.

В общем, взяли меня тогда. Добавили паёк по рабочей карточке, ненужный, как вы понимаете, и поставили на упаковку снарядов для танкового боекомплекта. И на том месте, куда поставили, я проработал около двух лет, вплоть до 19 января 43-го года, когда по радио Ленинграда передали, что блокада прорвана. И всё, что сейчас вам рассказываю, про страшное, я в основном узнавал у себя на Кировском заводе, от других, с кем работал и кто был больше меня в курсе всех этих жутких городских событий.

Но и своими глазами увидеть довелось. Идёшь по улице, с работы или на работу, встречаешь людей, которые шатаются, как пьяные, падают и умирают, прямо на глазах. Сначала мне страшно было, я не знал, что делать и кого звать. Но никто всё равно не пытался помощь оказать, бессмысленно было, да и сами все еле ноги таскали, не было сил ни у кого. Кроме меня. Но я всё равно ничего не мог сделать один.

А потом я уже привык к таким картинам и сам уже почти не обращал внимания. Знаете, можно сказать, что наш любимый Ленинград стал тогда моргом, а улицы его – проспектами мёртвых. В каждом доме в подвале склад мертвецов. И в наш полуподвал стали потом мёрзлые трупы затаскивать, в тот самый, куда я для дяди Антипа передачку метнул, через разбитое окошко. Потом ещё не один раз метал туда же, не зная, найдёт он или не найдёт. И вообще живой он или не живой. Но так я, по крайней мере, оставался в тени со своим богатством, действовал от неизвестного адресата, не подставлялся.

А кругом свалки грязи и других покойников, небуранных. Ужас какой-то. Это при том, что света нет, топлива нет, вода замёрзла, уборные не работают. Та зима была ледяной ад просто, никак не меньше. Это я сейчас так спокойно вспоминаю, ребятки, когда можно на то дикое время как бы со стороны посмотреть, увести память от участия своего в том переживании.

Тогда же, в декабре, кажется, тоже сорок первого, перед тем же Новым годом первый случай людоедства обнаружился. Называется каннибализм. Ну, людоедов сразу к расстрелу, с конфискацией, через военный трибунал. Сотни случаев каждый месяц, и так почти до сорок третьего. И я подумал тогда, а если про меня узнают, ну что такой огромный запас имею и не отдаю людям, не делюсь. Тоже к расстрелу, наверное? Или просто конфискация, как забирали имущество у каннибалов? Мне и стыдно было до невозможности, и страшно. И посоветоваться не с кем. А склад мой даже зримо не убывал, столько всего было заготовлено впрок. И всё для одного получилось, для меня, даже без папы.

А деньги у людей были, но только ничего не стоили, папа был прав. Ничего не имело цены: ни драгоценности, ни картины, ни антиквариат. Только хлеб и водка – хлеб чуть дороже. За него голодные люди и дрались в огромных очередях, если хватало сил.

Моё неудобство было в другом. Несподручно получалось готовить дома пищу. Приходилось разогревать сковороду или кастрюлю с чайником прямо на буржуйке или керосинке. Керосин-то был, помните, наверное, а вот в печурку, для тепла, пришлось пустить на дрова нашу мебель. Начал с любимых папиных стульев, которые мама выбрала когда-то для нас. Потом полки в кладовке, которые потихоньку освобождались от продуктов. Столы, кроме одного, платяные и книжные шкафы, диван, паркетины выковыривал дубовые, от них тепло самое сильное было. А разжигал книгами. Жалко было, но удобно. Короче, из деревянного оставил только одну кровать, чтобы было на чём спать.

Когда к концу второй уже зимы квартирная обстановка довольно сильно оголилась, то на этом фоне сразу стало заметно, как много везде по нашему с покойным папой жилищу

разложено запаса еды. И там и тут – всё, короче, что под мебелью раньше лежало или внутри неё. И папиросы нашлись: рядом с не начатым ещё рисом оказались и печеньем, точно. Я на них посмотрел и подумал, что самое время, как научил отец, пойти по адресам. По тем самым, что я записал под папину диктовку. И сделать то, о чём он просил. И я пошёл...»

## Глава 7

Ивану, загодя продумав композицию, Дюка приготовила ко дню их первой близости перстень. Назвала его «поленницей». С ним он потом и ушёл, когда мы с Нямой карликами родились. Ничего не взял, а с поленицей этой уже не расстался. Не смог и всё. И продолжал носить, не снимал. А там было так. Тонкие серебряные кривоватые цилиндрики в виде полешек, спаянные в нарочито неровную кучку, один на одном, с художественно невыровненными краями и торцами в филигранно высеченных морщинках. На плоском и широком цилиндрическом пояске. Всё ужасно просто, но глаз не оторвать.

Иван повертел в руках, пожал плечами, но, доверившись мастерице, натянул на палец. После уже привык. А через какое-то время и полюбил.

Он перебрался в квартиру Лунио не на другой день, как они планировали, а днём позже. Утром Григорий Наумыч из своего кабинета набрал проходную, спросил Ивана и сказал тому, пусть оттянет переезд свой на день. Мол, он им кровать в магазине заказал, на доставку, длиннономерную, под Иванов рост, так что пускай будущий гражданский зять ждёт еще сутки, и только после этого они с дочкой ждут его окончательно.

Так всё и было на деле, без подвоха, только Гандрабура засомневался, не хитрят ли. Но ждать было недолго, поэтому он смирился с отсрочкой и решил, пока суд да дело, нанести прощальный визит Фране. В прошлый раз, раздосадованный её тупостью, он ушёл с намерением больше не посещать хозяйку узкоколейки никогда. Тем более предполагалось, что уже и не надо будет.

Но Иван быстро понял, что допустил промах, потому как если Лунио эти его кинут, то в сухом остатке не будет совсем уже ничего, даже Франьки. А она, Франя, как-никак постоянная для него дырка, безотказная, молчаливая и без претензий. Потому, получив суточную индугенцию от Григория Наумыча, Гандрабура, навестив по пути продмаг, отправился на прощальную, если бог даст, встречу со своей последней сожительницей из местного роддома. Маршрут всё тот же – сперва сам роддом, для сверки графика, а уж после к самой, если сойдётся по её труду. Цель визита была довольно мутной, но, сверив своё решение с подсказкой изнутри, он решил-таки цели этой не противиться. Да и снять хотелось заодно гадкое чувство, что некрасиво тогда расстался. Следовало б на этот раз разлучиться красиво. Или вообще ничего не сказать, чтобы оставить себе, куда потом вернуться. Короче, задача не из лёгких, но выполнимая, если делать по уму.

Берёза, какую он видал из Франиного окна в прошлый раз, стояла на прежнем месте всё тем же ледяным кошмаром, так же, как и тогда, причудливо замерев подковообразной дугой. И это был хороший знак.

«Всё нормально, – подумал Иван, окинув дерево взглядом. – Теперь всё пойдёт как надо. Теперь все они у меня попляшут...»

Кто попляшет и в силу чего, он для себя не уточнил – уже было ни к чему. Следовало готовиться к новой жизни и нормально, без ненужных потерь. Второе и шёл осуществлять.

Как обычно, Франя и ждала его, и не ждала. Ждала – потому что тот мог заявиться в любое время. Не ждала – потому что тот мог больше вообще никогда не прийти.

– Здравствуй, Франя, – сказал Иван и протянул гостинцы. – Пустишь?

Франя отступила на шаг и пропустила гостя в полутёмный пенал. Дальше всё поехало по привычному узкоколейному маршруту. И только после финальных объятий и концевого выдоха, съехав с общего матраса долёживать визит на дощатом полу, Иван начал свой разговор, как часть зловещего плана.

– Вчера вот по радио передавали, я слышал, что есть такие пеликаны, плавучие, единственные, какие ныряют за рыбой. Другие просто летают и плавают, без погружения на глу-

бину. – Франя, удивлённая началом такой странной темы, молчала у себя наверху и ждала продолжения. К таким причудам Гандрабуры она не привыкла, потому что у того всё и всегда было прямо и просто, как железная колея. Пил, закусывал, потом забирался, потом слезал, не уходил в сторону от темы, а слова всегда применял самые обычные, без ухода во внутренний мир и на глубину. – Так вот и говорю, – продолжил мысль Иван, – он рыбину высматривает под водой, приплывает к ней и хватает всю целиком, клювом своим. А под клювом зоб специальный, типа мешка из кожи. И влазит в этот мешок ровно три литра морской воды. И рыбина эта к нему попадает в зоб вместе с этой водой, со всеми этими литрами. Дальше он выплывает наружу и глотает их, обоих, в живот. Рыбу и воду. И получается, сколько он рыбин наловил, столько раз по три литра воды в него попадёт. А рыб ему в день надо много. Вот и считай теперь, куда в нём столько воды девается, если сам наелся досыта.

Иван выбил папиросу из пачки, чиркнул в темноте спичкой и закурил. И взял задумчивую паузу.

– А при чём здесь пеликаны, Ваня? – спросила Франя, пытаясь выловить причинно-следственную связь вещей. – Для чего ты мне это рассказал? Чтобы чего я сделала?

Иван выпустил едкий дым в её сторону и глубокомысленно изрёк:

– В том и дело, что ни при чём. А всё потому что... потому что...

Пока он обдумывал решающую фразу, она закончила мысль за него:

– Я знаю почему, – вымолвила девушка тихо, – Просто ты хочешь сделать мне предложение. Предложить руку и сердце. Да, Ваня, угадала? Я всегда знала, что когда-нибудь ты решишься. И ждала. И дождалась, да? Дождалась?

Иван приподнялся на локте и ошалело уставился в прикроватную темноту, где, освещённое законным фонарным светом, оконтуривалось нагое Франино тело. Тоже приподнявшееся на локте.

– Ты чего, мать, рехнулась совсем? – на полном серьёзе спросил Иван, искренне удивившись такой её глупой догадке. – Какое ещё предложение? Я сказать тебе собирался, что женюсь завтра и что уйду совсем. И чтобы ты меня ждала, если чего. А ты – жениться! Как это – взять вот так, с никакого перепугу, и руку в придачу отдать с пламенным мотором заодно? Я ж не повернулся умом пока, чтобы взять с тобой и записаться. Чтоб с общаги в съёмную твою уйти, с той кровати на эти доски, только уже навсегда? Так, что ли, придумала? А, Франь? Ты чего?

Франя поднялась с кровати, накинула на себя байковый халат и зажгла свет. На полу, так и не опустившийся с локтя, высветился с папиросой в руке застывший от гневного недоумения Иван Гандрабура, визитёр с четырёхлетним стажем.

– Уходи, Ваня, – сказала Франя, – совсем уходи. Навсегда. Не хочу, чтобы ты сюда больше приходил, хоть женатый, хоть неженатый. Никакой не приходи, забудь дорогу.

Иван хмуро глянул на няню, загасил папиросу в пустую банку из-под майонеза, поднялся и стал натягивать трусы. Потом – остальное. Молча. Так же молча протянул руку к столу, взял стакан, слил в него остаток белой и выплеснул его в рот.

– Поговорили, короче, – сказал на прощанье. Накинул тулуп и вышел в барачный коридор, оставив дверь нараспашку. Франя прикрыла дверь, присела на корточки и начала медленно скатывать ненужную больше Иванову постель в упругий и бесполезный рулон.

Близилось утро. Природа после продолжительных заморозков в воздухе и на почве постепенно начинала отпускать холод восвояси, приближая себя к нулю. И когда Иван Гандрабура, уволенный прихожанин роддомовской няни и будущий жених Дюки Лунио, проходил мимо всё ещё не отпущенного уходящим морозом, изогнутого под тяжестью ледяной прозрачной корки самородного берёзового чуда, он не видел, как тяжёлая порция оттаявшей ледяной влаги, стянувшаяся под влиянием земного притяжения в могучую первую каплю, оторвалась от верхней точки подковы и улетела в землю, прожигши по пути застоявшийся от затяжной, теряющей красоту зимы рыхлеющий снег.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.